ДЕВЯТЬ БОГОВ · КНИГА ВТОРАЯ

ДОЛГИ НЕ УМИРАЮТ



ВЛАДИСЛАВ КОВАЛЕВ

18+

Владислав Ковалев

Долги не умирают

«Автор»
2026

Ковалев В. А.

Долги не умирают / В. А. Ковалев — «Автор», 2026

Ключ Морвена открыл первые врата — и тот, кто прятался за светом, теперь знает, где он.Кассиан идёт туда, где море не движется: на неподвижной воде стоит его сестра, а под водой ждёт тот, кто готов вернуть её — за честную цену. Капитанша ищет остров, который можно купить. Сновидица — правду, которую нельзя продать. Наследник Кордара — убийцу отца рядом с собой. А рыцарь, ушедший от света, — имя сестры, которое у него отняли.Вторая книга цикла «Девять богов» — о долге, мере и о том, что у каждого дара есть цена.

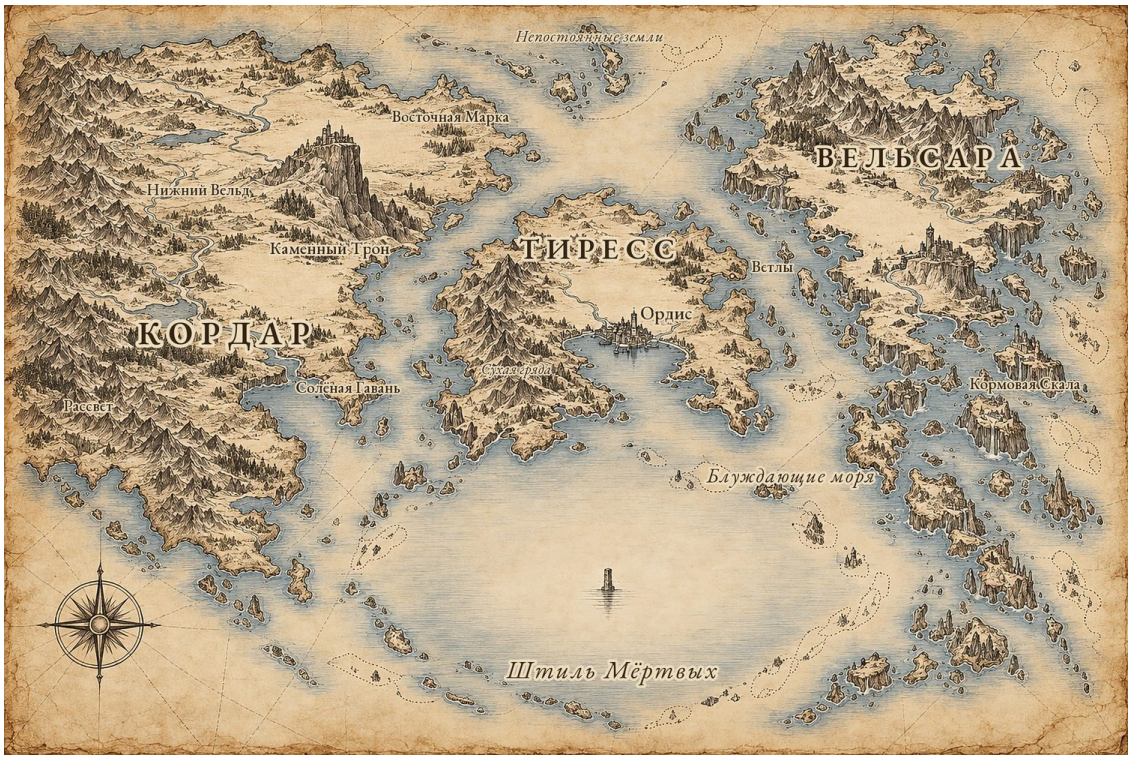
© Ковалев В. А., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Карта Эйрдана 5
Восемь, которых нет 6
Последний из Девяти 14
Тот, кто был до них 15
Действующие лица 16
Пролог 27
Часть первая 32
Глава первая 34
Глава вторая 44
Глава третья 52
Глава четвёртая 59
Глава пятая 67
Глава шестая 74
Глава седьмая 84
Глава восьмая 90
Конец ознакомительного фрагмента. 99

Владислав Ковалев
Долги не умирают

Карта Эйрдана



Восемь, которых нет

как их рисовали на стенах храмов



Лиэна
Сны · Граница
Ей снились все спящие мира



Дейрон
Война · Спор
Спорил громче всех в Совете



Сивель
Жизнь · Рост
Держала чашу, из которой пьёт всё живое



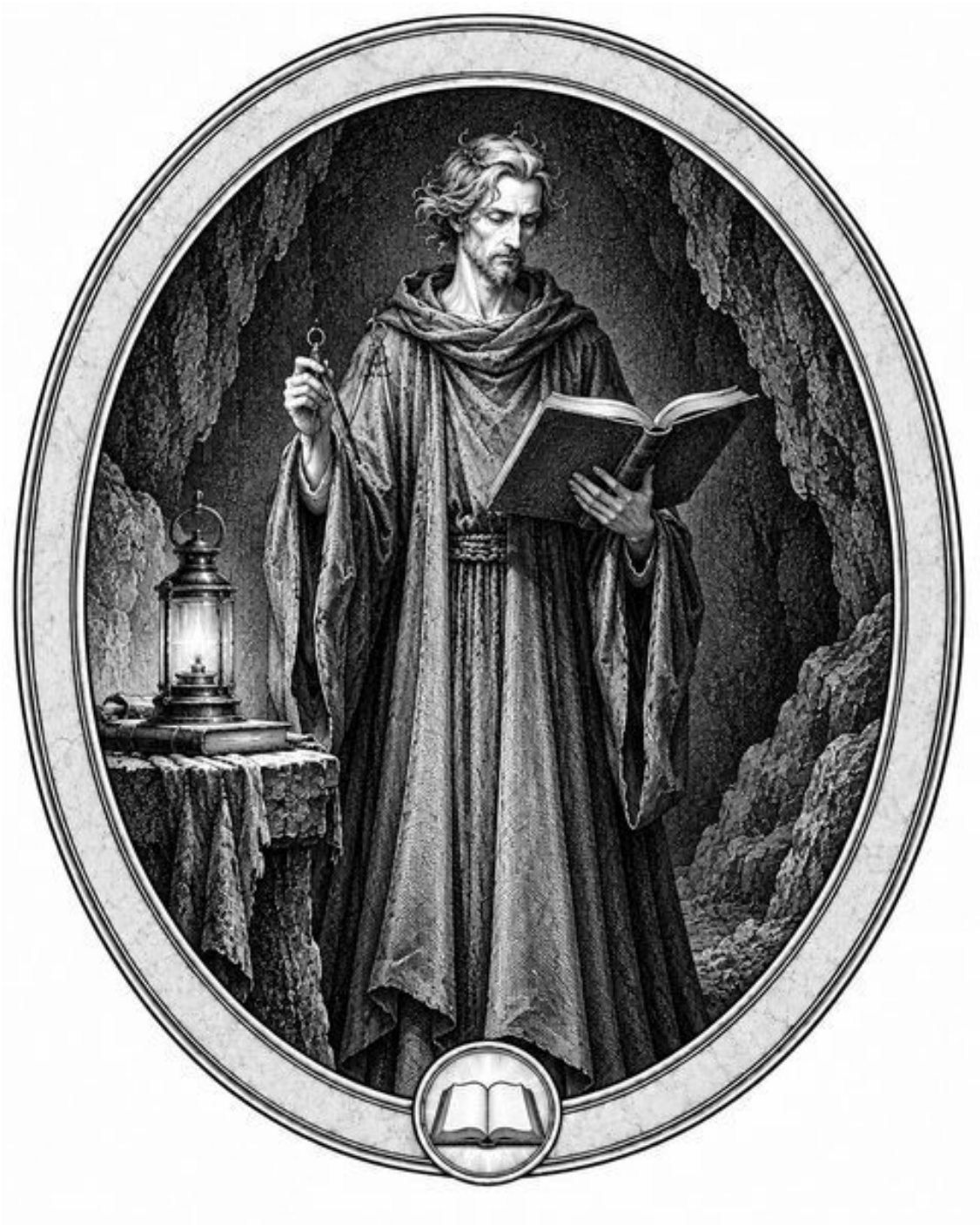
Грамнар
Земля · Основа
На нём держались материки



Ориан
Море · Течение
Знал, куда идти всякой воде



Астэр
Звёзды · Пространство
Расставлял звёзды и расстояния

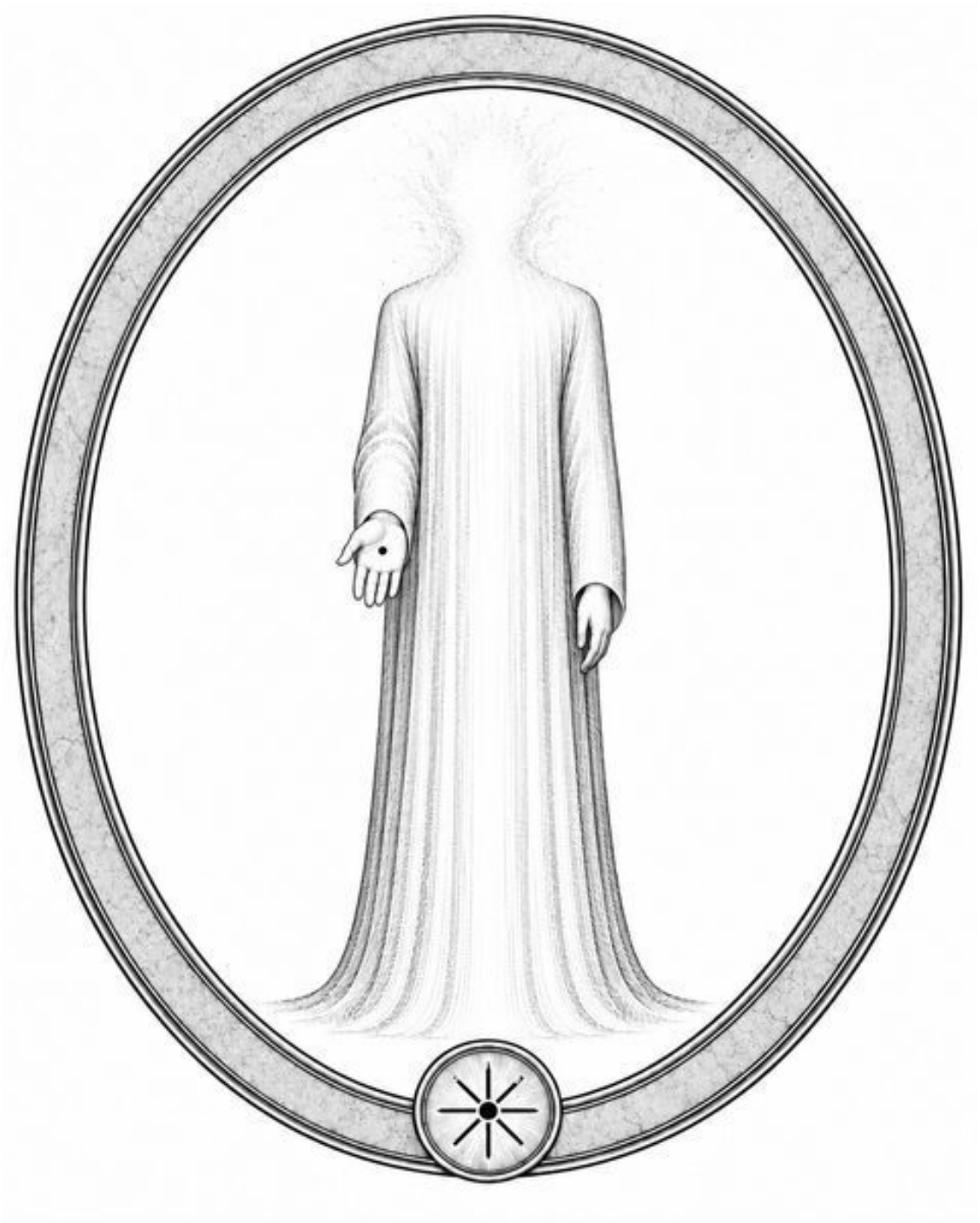


Иллен
Знание · Истина
Отвечал тому, кто правильно спросит



Морвен
Смерть · Переход
Ведёт мёртвых через реку

Последний из Девяти



Элиар
Солнце · Единство
Его свет видят все

Тот, кто был до них



Вааргут
Старый бог · Долг и Мера
Всему на свете есть мера

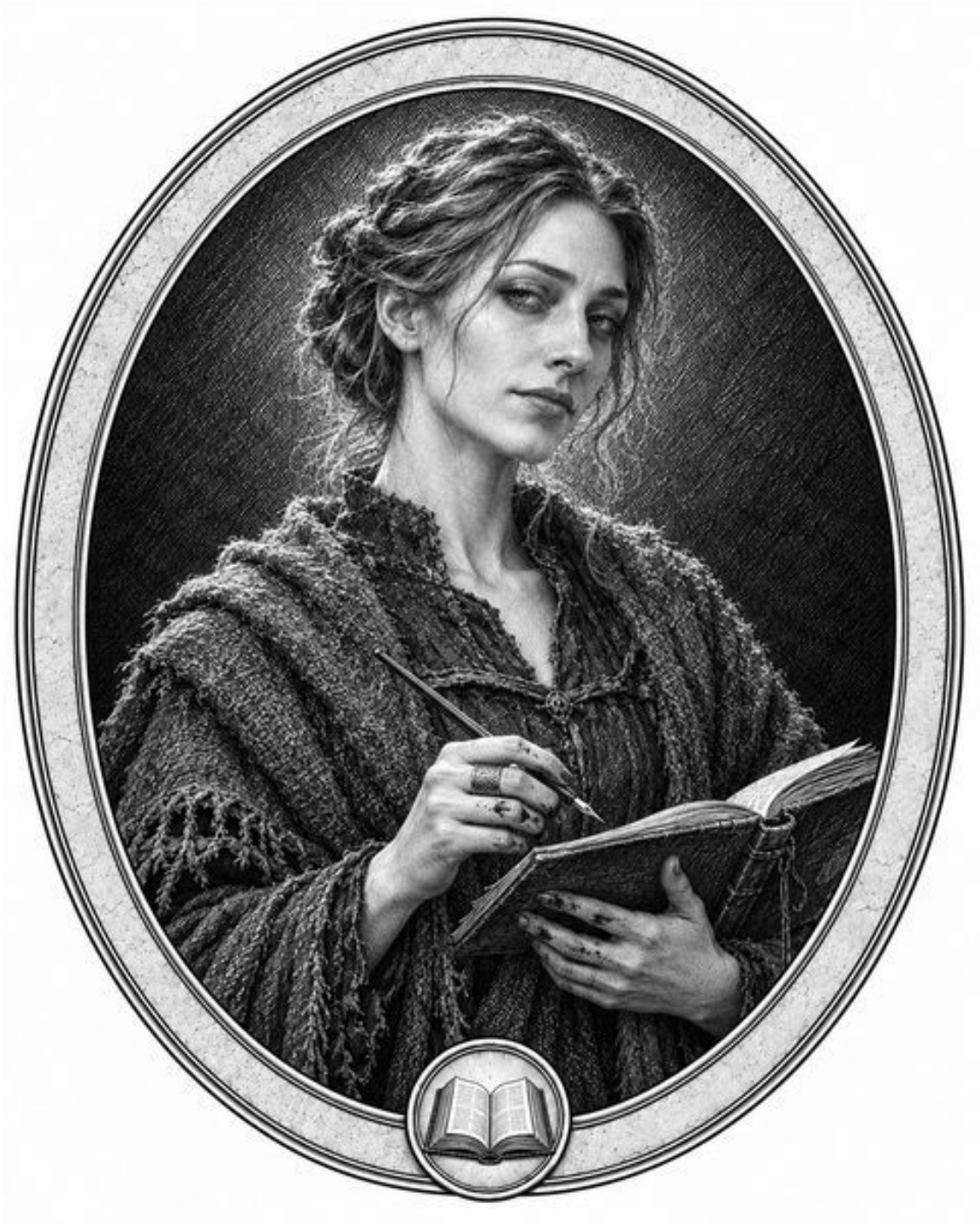
Действующие лица



Кассиан
послушник храма Перехода
Провожает мёртвых до порога



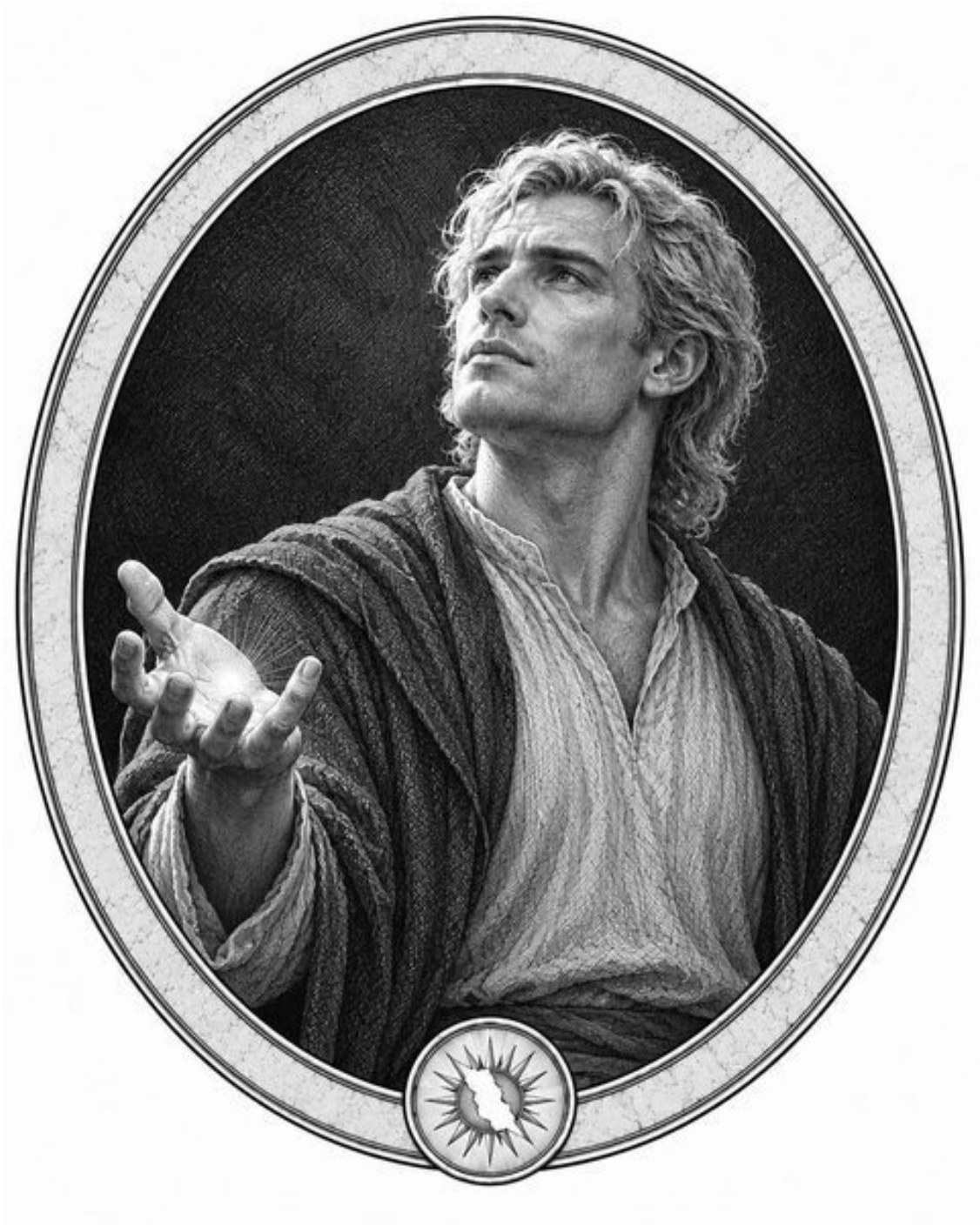
Лира
его младшая сестра
Научилась слышать, как растут её ногти



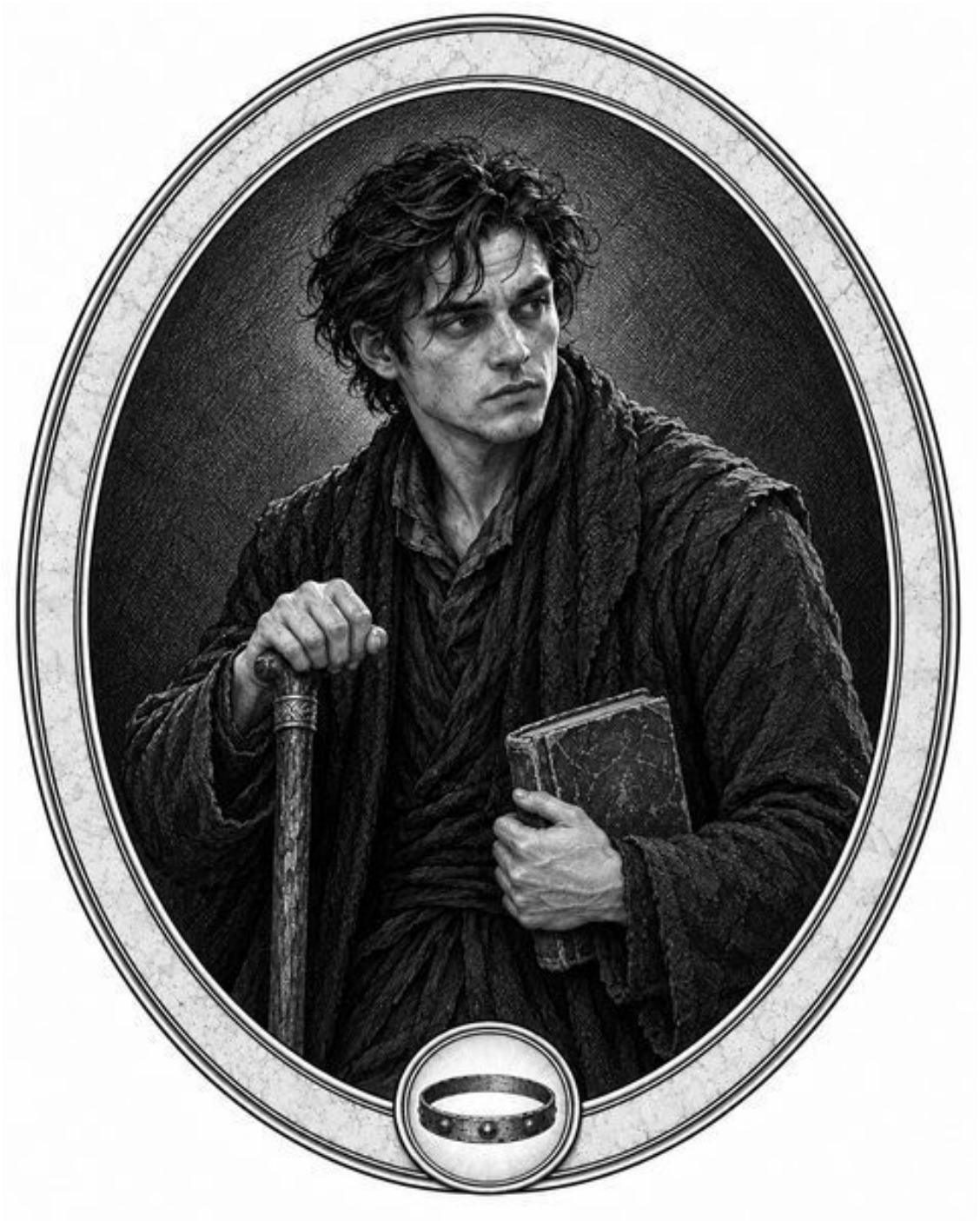
Ярина Соль
Сновидица, переписчица долгов
Толкует сны за медяк



Рена Тарвес и Тур
капитанша «Верной» и её боцман
Смеётся громко, считает точно



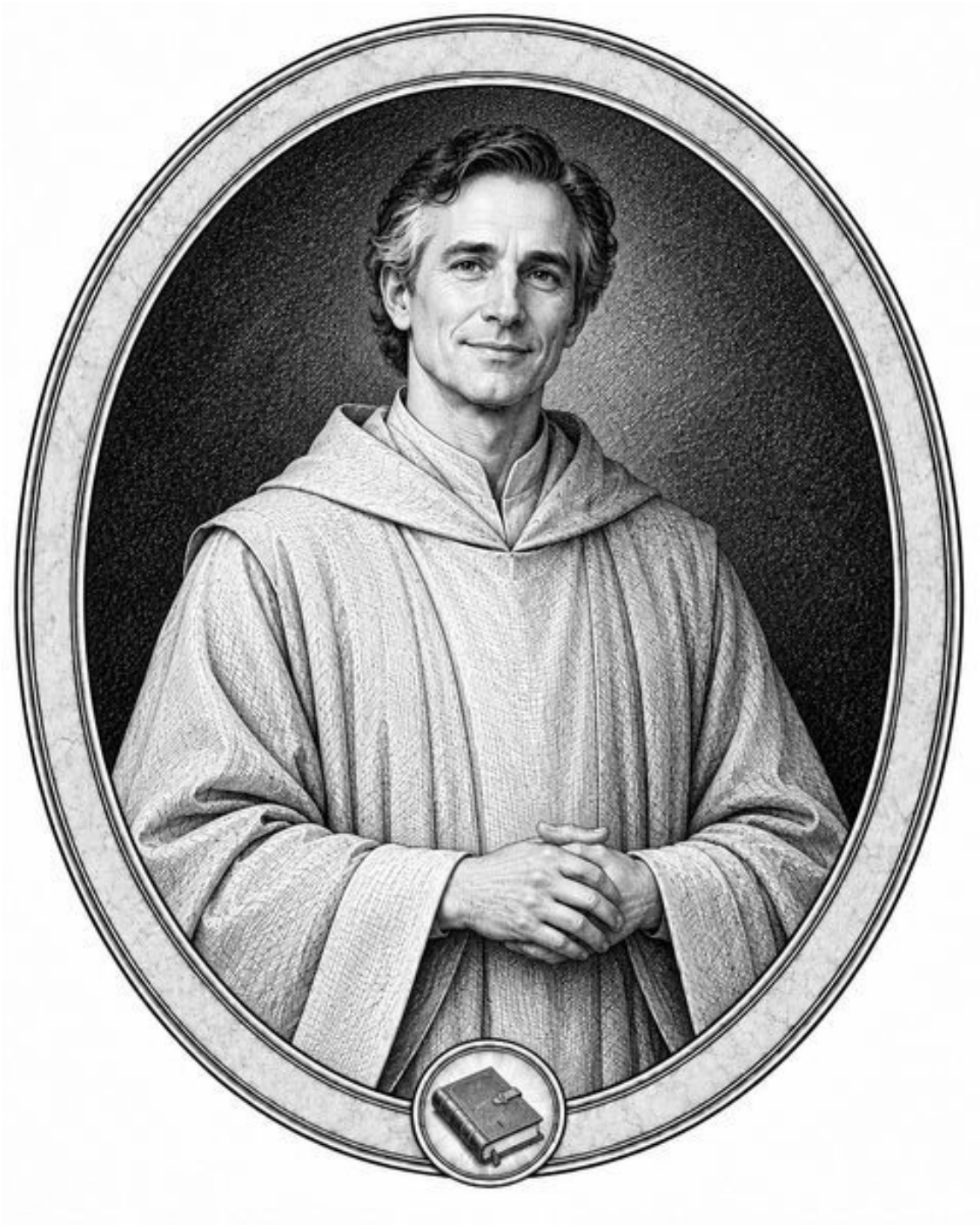
Сэр Ильяс
рыцарь Стражи Солнца
Верит, что спасает мир



Дарен
наследник Кордара
Читает всё до последней строки



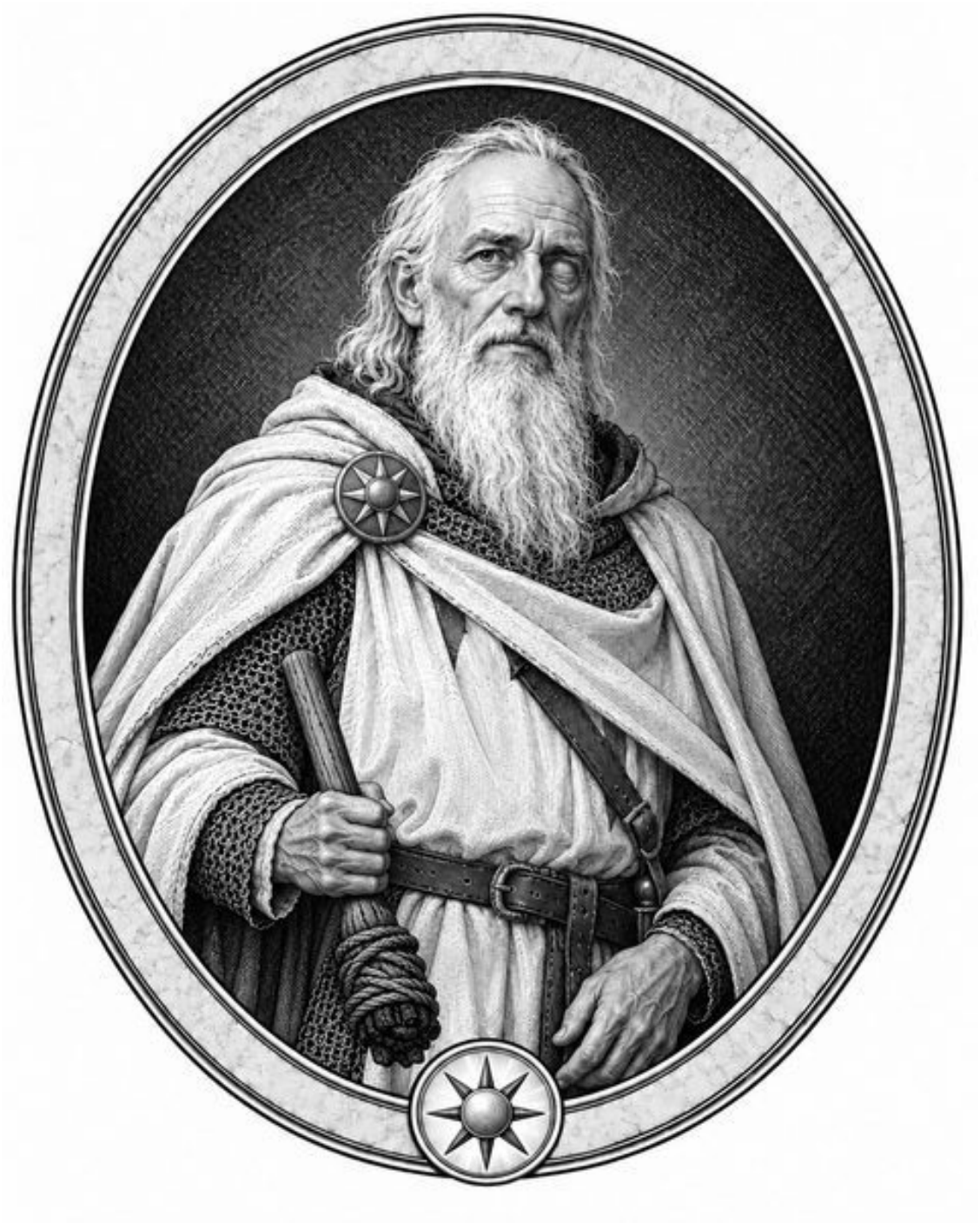
Отец Тальберт
маг Перехода, наставник Кассиана
Если заснёшь — пусть рядом будет вода



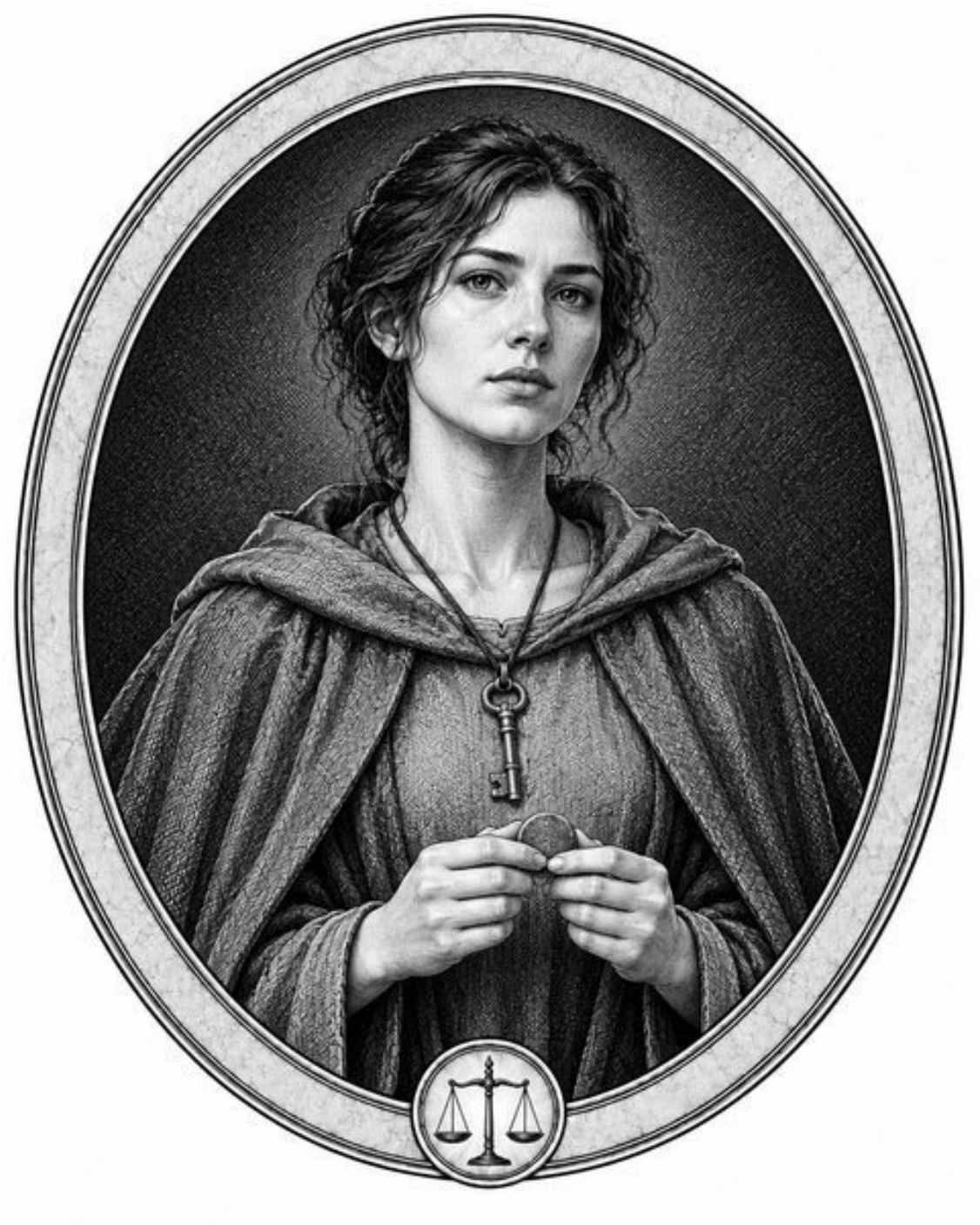
Магистр Северин Алей
советник двора Кордара
Рядом с ним всегда чуть теплее



Корвин
брат государя, полководец на Тиессе
Пятнадцать лет держит фронт



Первый страж Маттиас
глава Стражи Солнца
Выйдет последним



Илисса Вандерграф
посланница дома Вандерграф
Красные костяшки — что есть, чёрные — что должна

Пролог
Последнее течение

Маргит Тарвес. Бриг «Добрая Хильда», Южная вода к западу от Вельсары. Сорок лет назад.

Вода начала слушать после полудня.

Маргит заметила это первой, потому что больше было некому. Капитан Оссендорп спал у себя в каюте после обеда, как спал каждый день тридцать лет подряд, и на бриге знали: если «Хильда» тонет, сначала дай капитану доспать. Боцман сидел на шпиле и чинил башмак. Рулевой смотрел на компас. А Маргит Тарвес, девятнадцати лет, лоцман с острова Сель, впервые в жизни нанятая не отцом и не дядей, а чужим человеком за чужие деньги, стояла на баке и смотрела на воду так, как её учили смотреть с пяти лет.

Мать говорила: море всегда говорит. Ты только не перебивай.

Море говорило. Южная вода к западу от Вельсары была тёплая, синяя, ленивая, с длинной пологой зыбью, которая приходила с юго-запада и уходила на северо-восток, — как дыхание большого спящего зверя. Маргит знала эту зыбь с детства. Знала, что здесь, посреди пустой воды, где до любого берега три дня, под ней идёт течение — широкое, тёплое, медленное, на север. Течение было старое. Старше карт. Лоцманы с Сели звали его Дорогой: если потерялся, ляг на Дорогу, и она вынесет тебя к Вельсаре, как река выносит щепку.

После полудня Дорога замедлилась.

Маргит не видела этого. Она чувствовала — подошвами через палубу, ладонью на планшире. Так чувствуют, что человек, который шёл рядом, замедлил шаг: ещё идёт, но уже прислушивается. «Хильда» шла под всеми парусами, а вода под кильватером слушала.

Не их. Вниз.

— Тарвес, — сказал боцман со шпиля, не поднимая головы от башмака. — Ты чего на воду уставилась, как кошка на мышиную нору?

— Ничего, — сказала Маргит.

Она соврала. Ей было девятнадцать, и она боялась, что, если скажет вслух «вода слушает», её спишут в первом же порту.

Она сняла с крюка фонарь — свой, мамин, жёлтый, с закопчённым стеклом и медной ручкой, который взяла с собой на счастье, — и зачем-то крепко прижала его к боку, хотя до вечера было далеко.

* * *

К третьей склянке пропала зыбь.

Это заметили все. Палубу перестало качать — так, будто кто-то медленно опускал ладонь на воду и прижимал. Паруса ещё были полны, но нос больше не поднимался и не опускался, и звук был не тот. Обычно вода у форштевня шипит. Сейчас она шептала.

Рулевой оторвался от компаса и посмотрел на Маргит. Она не знала почему на неё. Наверное, потому, что она тоже смотрела.

Боцман отложил башмак.

— Буди капитана, — сказал он юнге.

Капитан Оссендорп вышел на палубу в рубахе, босиком, с отпечатком подушки на щеке. Постоял у грот-мачты, задрав голову, посмотрел на паруса, на воду, на небо. Небо было чистое, синее, высокое. Ни облака.

— Штиль идёт, — сказал он. — Штиль, бывает. Убирай брамсели, Кох.

— Это не штиль, — сказала Маргит.

Все посмотрели на неё.

Она стояла на баке с фонарём у бока, тощая, в отцовской куртке, которая была ей велика, и чувствовала, как горят уши.

— Ветер есть, — сказала она. — Вода не идёт. Течение стоит. Дорога стоит, капитан. Я её с детства знаю. Она не стоит никогда.

Оссендорп смотрел на неё долго. В его серых глазах всегда сидела усмешка. Сейчас её не было.

— Не стоит никогда, — повторил он.

— Никогда.

— А сейчас стоит.

— Сейчас — слушает, — сказала Маргит. И сама испугалась этого слова, потому что оно было правильное.

Капитан не засмеялся.

Он подошёл к борту, перегнулся и долго смотрел вниз. Потом плюнул в воду — по старому обычаю, «на удачу». Плевок упал и остался лежать на воде. Вокруг него не разошлось ни круга. «Хильда» уходила вперёд, а он лежал на месте, как монета на столе.

— Убирай всё, Кох, — сказал капитан тихо. — Всё убирай. Ложимся в дрейф.

* * *

Ветер кончился к закату.

Он не стих. Он кончился — на полуслове, как кончается песня, когда певцу зажали рот. Паруса, уже подобранные, повисли. Вымпел на мачте упал вдоль древка и больше не шевелился. И стало слышно, что звуков нет.

Звуки были — скрип рангоута, шаги, чьё-то дыхание, — но они не уходили. Обычно звук на море уходит далеко-далеко. Сейчас он падал у самых ног. Боцман что-то сказал юнге в трёх шагах от Маргит, и она увидела, как у него шевелятся губы, но услышала только «… воды…» — и всё.

Солнце садилось в воду. И в воде, отражённое, садилось второе солнце, и они касались краями, и отражение не дрожало. Ни одной морщинки. Как будто внизу было не море, а лист тёмного стекла, и под стеклом ещё одно небо.

Матросы собирались у бортов. Кто-то молился шёпотом — старой молитвой Ориану, морскому, которой учат на Сели детей: «Держи нас на ладони, держи». Маргит тоже шевелила губами. Она не помнила, когда начала.

Потом пришёл туман.

Он не наполз с горизонта, как ползут туманы. Он поднялся из воды — сразу везде, тонкий, белый, по колено, по пояс, по плечи, — и вода под ним стала не видна, а небо над ним осталось чистым, и в небе загорались звёзды. Звёзды стояли не на своих местах — чуть-чуть, на волос, как стоят вещи в доме, куда ночью кто-то заходил.

И тогда она увидела.

* * *

Далеко, в миле от «Хильды», может быть, больше — на воде расстояния врали, — в тумане стоял столб.

Сначала она подумала: смерч. Потом — ничего не подумала, потому что такого слова не было. Вода поднималась из моря вверх. Сплошной стеной, широкой, как башня, и высокой, как десять мачт, — поднималась, переливалась, падала обратно в себя и снова поднималась. Как будто море встало на дыбы и не могло лечь. В ней ходили огни — зелёные, синие, тусклые, как ходят огни в глубокой воде у Сели в летние ночи, когда цветёт море. Посреди мёртвой стеклянной воды эта единственная — текла. Как течёт кровь в жилах, как течёт Дорога.

Маргит поняла, что смотрит на того, кому молятся на Сели. Она не знала, откуда поняла. Просто поняла — так же, как поняла днём, что вода слушает.

Фигура из воды стояла и тоже слушала. Вниз. Под себя. Туда, куда весь день прислушивалась Дорога.

Под морем что-то было.

Маргит не видела его. Но лоцман читает, что под водой, по тому, как ведёт себя вода над ним, — и сейчас вода вела себя так, как над огромной скалой, которой не было на картах. Неподвижной. Как гора, которая лежит на дне под туманом и не спит. И вся вода вокруг столба тянулась к этой горе и замирала над ней, как замирает человек над колодцем, из которого раздался голос.

А сверху был свет.

Он не был луной. Луны не было. Он не был звёздами. Он просто был — ровный, белый с золотом, со всех сторон сразу, как бывает светло в полдень в облачный день, когда солнца не видно, а светло. Он лёг на туман сверху. Тихо. Без теней. Маргит подняла руку и посмотрела на неё — у руки не было тени. У мачты не было тени. У столба из воды не было тени.

Ей стало тепло. Сразу и всей. Хотелось лечь на палубу и уснуть. Хотелось сказать спасибо.

Она прижала к груди мамин фонарь. Медная ручка была холодная. Это помогло.

* * *

Тёмную фигуру она увидела, когда та была уже у самого столба.

Высокая. Человеческая — почти. В длинном плаще с капюшоном. Она шла по воде под туманом медленно, как идёт человек по последней ступени лестницы в темноте. Свет сверху обтекал её. Не ложился. Огибал, как вода огибает камень. Там, где был плащ, было темнее, чем ночь, а под капюшоном — Маргит потом всю жизнь спорила сама с собой, видела она это или придумала, — под капюшоном ворочалось что-то, похожее на дым над торфяником.

Столб из воды повернулся к ней.

У него не было лица. Но он повернулся. Огни в нём качнулись и поплыли к тёмной фигуре, как плывут к знакомому.

Тёмная фигура подняла руку.

Рука в перчатке легла на воду, которая текла, и задержалась. Как ложится ладонь на лоб больному.

Фигура склонила голову.

Над морем, над туманом, над стеклянной водой, через милю и через тишину, в которой звук падал у самых ног, Маргит услышала одно слово. Тихое. Усталое. Не мужское и не женское.

— Прости.

И вода остановилась.

* * *

Она остановилась вся. Столб не упал — он замер, как замерзает струя в мороз, прозрачный, зелёно-синий, с застывшими огнями внутри. Огни в нём погасли — один за другим, сверху вниз, медленно, как гаснут окна в городе. Туман перестал подниматься. Звёзды перестали мерцать.

Свет сверху стал ярче.

Маргит закрыла глаза и всё равно видела его сквозь веки — белое, ровное, огромное. А потом свет потянулся. Вверх. К одной точке. Тонкими нитями, как волос, — из столба, из тумана, из воды, из её собственных глаз, — и она почувствовала, как что-то тянет за самое дно зрачков, и вцепилась в фонарь так, что медная ручка впилась в ладонь.

Тёмная фигура стояла у столба, и её тоже тянуло. Маргит видела: нити шли и от неё. Только не вверх. Они шли в неё. Как вода уходит в песок.

Потом всё кончилось.

Свет погас — не стал темнее, а просто перестал быть, как перестаёт звук, когда закрываешь дверь. Тёмной фигуры не было. Был туман, и звёзды не на своих местах, и мёртвая стеклянная вода до самого горизонта, и посреди неё, вдали, — столб. Прозрачный. Неподвижный. Как колонна в храме, из которого ушли люди.

Сверху что-то падало.

Маргит увидела это, потому что смотрела вверх. Медленно, кружась, как лист в безветрие, оттуда, где тёмная рука легла на текущую воду, летело что-то серо-голубое, тонкое, рваное. Как угол, оторванный от большого полотна, когда его тянут в разные стороны.

Он упал у самого борта «Хильды».

* * *

Никто на палубе этого не видел. Матросы лежали, кто где стоял, и спали. Капитан Оссендорп сидел у грот-мачты, привалившись к ней спиной, с открытыми глазами, и улыбался во сне. Рулевой спал, обняв штурвал. Боцман спал, сжимая башмак.

Не спала только Маргит. Она так и не узнала почему. Может быть — потому, что держалась за холодную медь.

Она взяла отпорный крюк и перегнулась через фальшборт. Вода была гладкая и твёрдая на вид, как лёд. Крюк вошёл в неё без всплеска.

Лоскут был лёгкий. Мокрый. Холодный. Размером с ладонь, с рваными краями, из чего-то, что было похоже на парусину и на кожу, и не было ни тем, ни другим. Маргит положила его на палубу и поднесла к нему мамин фонарь.

По лоскуту шли линии, тонкие, тёмные, как берега на карте. И они двигались — медленно, едва заметно, как ползёт тень от мачты.

Одна линия была светлее других. Тонкая, яркая, как нитка. Она шла от края лоскута — оттуда, где, если держать его правильно, был юго-запад, где стоял столб, — на север. Извиваясь. Узкая, как волос. Единственная живая.

Маргит подняла голову.

На воде, в двадцати шагах от борта, под туманом, она увидела то же самое. Узкую полосу, шириной в две лодки, где вода ещё шла. Ещё дышала. Ещё рябила — чуть-чуть, мелко, как дрожит кожа у лошади. Полоса тянулась мимо «Хильды» на север и уходила в туман. Последнее течение. Последняя нитка Дороги, которая не успела остановиться.

И она тоже — Маргит видела — замедлялась.

* * *

Маргит Тарвес не помнила, как спустила шлюпку.

Она помнила, как кричала в лицо капитану, била его по щекам — он улыбался и не просыпался. Помнила, как одна гребла, и вёсла входили в воду как в масло, и шлюпка шла, и за ней шла «Хильда» — тяжело, медленно, на буксире, как идёт за человеком больная корова. Помнила, как вывела нос брига в полосу, где вода ещё рябила, и как полоса взяла его — сначала нехотя, потом сильнее, — и понесла.

На север. По последнему течению.

Она гребла всю ночь. Полоса становилась уже. Вода по обе стороны лежала стеклом, и в стекле отражались чужие звёзды. Однажды Маргит увидела справа, далеко, корабль — старый, с резной кормой, — он стоял на стекле без ветра и без огней, и у его бортов стояли люди и смотрели назад, туда, где остался столб. Она отвела глаза и гребла.

На рассвете полоса кончилась. Позади, за кормой «Хильды», она остановилась и легла гладко, как всё вокруг.

А впереди была рябь. Живая. Солёная. Обычная. Ветер ударил в лицо, холодный, северный, настоящий, и на «Хильде» за спиной у Маргит кто-то закашлялся, и капитан Оссендорп хриплым голосом спросил: «Какого рожна ты в шлюпке, Тарвес?»

Она не ответила. Она сидела на банке, бросив вёсла, и плакала, и смеялась, и держала за пазухой мокрый холодный лоскут, на котором тонкая светлая линия последнего течения медленно гасла, как гаснет уголь.

* * *

Через сорок лет люди будут называть это место Штилем Мёртвых.

Через сорок лет моря будут ходить как хотят, острова — плыть, как лодки, а Дорогу забудут даже на Сели. Капитан Оссендорп больше никогда не выйдет в море. Боцман Кох сопьётся. Маргит Тарвес выйдет замуж за рыбака с Сели, родит троих сыновей и дочь, будет водить корабли по водам, которые с каждым годом врут всё больше, и никогда никому не скажет, откуда у неё кусок карты, который знает дорогу.

Только однажды, на пристани, в день, когда дочь в шестнадцать лет уйдёт в свой первый рейс на чужом корабле, Маргит обведёт на лоскуте узелком из золы маленькую точку у нижнего края — их остров, их дом — и вложит лоскут в мешочек из тюленьей кожи, и повесит дочери на шею.

— Это мы, — скажет она. — Чтобы ты нашла дорогу домой.

И подумает — но не скажет, — что есть места, где вода не движется, и что туда ходить нельзя. Потому что там, внизу, под стеклом, лежит что-то, что умеет ждать.

Скажет она это потом. Через много лет, одна, стоя с жёлтым фонарём на конце пристани и глядя в море, куда ушла дочь.

Некому будет услышать.

Часть первая
Вода, которая не движется



Глава первая
Ветлы

Кассиан. Ветлы, северный берег Тиресса. Шестьдесят девятый — семидесятый дни после вспышки.

Ветлы пахли ивой.

Кассиан почувствовал это раньше, чем увидел берег: с рассветом ветер повернул с суши, и в нём, поверх соли, дёгтя и козы, вдруг появилось горькое, мокрое, зелёное — как пахнет у реки, когда режешь прут на свирель. Он лежал в гамаке под бушпритом и вдыхал, и не сразу понял, почему ему хочется плакать. Потом понял. Так пахло у Вельды, под Нижним Вельдом, за кладбищем, где отец когда-то срезал Лире бузину.

Он сел. Гамак качнулся. Пальцы в льняных полосках Рохи не сгибались, и вылезать пришлось на локтях, как вылезает из воды человек, у которого нет рук.

Берег выплывал из утреннего тумана медленно. Низкий, плоский, жёлтый. Устье реки, широкое, бурое, и вдоль него — ивы. Сотни ив, старых, кривых, с толстыми обрубленными головами, как у стариков, которые всю жизнь стояли по колено в воде и теперь не могут выйти. Листья на них были жёлтые. Не все — через один, как седина. Кассиан смотрел на них и думал: осень. Вспышка была в середине лета. Он закапывал Лиру, когда липы ещё цвели. А теперь — ивы жёлтые.

Шестьдесят девять дней.

За ивами — дома. Немного. Серые, деревянные, на сваях, с крышами из тростника. Пристань — длинная, на толстых чёрных столбах, вся облепленная лодками. Склады. Дым. И люди — Кассиан видел их даже отсюда: на пристани, на берегу, между складами, в лодках, — много, слишком много для такого маленького места. Как муравьи на разорённом муравейнике.

— Беженцы, — сказала бабка Сорель у него за спиной. Она принесла кружку. В кружке было что-то горячее и горькое — имбирь с дёгтем, её вечное. — С юга. Ещё когда мы тут были в прошлый раз, было полно. А теперь, видишь, — вдвое.

Кассиан взял кружку обеими замотанными ладонями, как берут птенца. Пальцы не чувствовали жара. Ладони чувствовали — чуть-чуть.

— Мы тут были? — спросил он.

— Мы — да. Ты — нет. Ты тогда ещё в своём храме сидел. — Сорель облокотилась на фальшборт рядом. Маленькая, сморщенная, в трёх платках. — Двадцать седьмой день, наконечники сдавали. Тут одноногая сидит, квартирмейстер. Лаас. Хорошая баба. Платит половину серебром, половину бумагой. Бумагу потом можно на растопку.

Кассиан пил и смотрел на ивы.

Нитка шла не туда.

Он почувствовал её сразу, как проснулся, — как чувствуешь утром, что рука затекла. Натянутая, тонкая, светлая, от свирели на груди, через левый борт, мимо Ветлов, мимо ив и устья, — на юго-запад. В открытое море. Ветлы ей были не нужны. Ей ничего не было нужно, кроме одного места.

— Тянет? — спросила Сорель, не глядя на него.

— Тянет.

— Ну и пусть тянет. — Она отняла у него пустую кружку. — Сначала хлеб. Потом вода. Потом — пусть тянет. Рена так сказала.

* * *

Они встали у пристани к полудню.

Места не было — вдоль всех чёрных столбов стояли лодки, рыбацкие, плоскодонки, какой-то полузатопленный баркас с проломленным бортом, — и Тур просто подвёл «Верную» к самому краю и бросил конец мальчишке на пристани, и мальчишка поймал, и намотал на столб, и протянул ладонь. Тур положил в неё медяк. Мальчишка посмотрел на медяк, потом на палубу «Верной», где сидели шестьдесят человек, потом опять на медяк.

— С юга? — спросил он.

— С Ордиса, — сказала Рена.

Мальчишка присвистнул.

— Ордис пал, — сказал он. Не спросил — сказал. Как говорят о погоде. — Вчера голубь был. Вельсарцы взяли без драки. Вы последние?

— Не знаю, — сказала Рена. — Мы ушли рано.

Мальчишка пожал плечами и убежал по пристани. Кричать новость. Кассиан смотрел, как он бежит — босой, быстрый, лет десяти, — и как на бегу оборачиваются люди, и как по пристани, от лодки к лодке, от человека к человеку, ползёт слово: «Ордис».

На палубе «Верной» стало тихо.

Потом старик Окунь встал.

Он встал медленно, держась за фок-мачту, с повязкой через голову, на которой за два дня проступило бурое пятно. Мальчик Ян, внук, встал с ним — сразу, как будто его подняли за ниточку. Окунь постоял, посмотрел на берег, на ивы, на склады. Потом посмотрел на Кассиана.

— Ну, — сказал он. — Пойдём, значит.

Он не сказал, куда. Здесь никто не знал, куда.

Люди начали сходить.

Кассиан стоял у трапа — Рена велела стоять у трапа и считать, «чтобы никто не остался, кто не должен, и никто не ушёл, кого мы не довезли». Он не понимал, зачем считать, если все уходят. Потом понял. Рена не хотела, чтобы кто-то потерялся между палубой и пристанью. Это было бы глупо — довезти человека через горящую бухту и потерять на трапе.

Он считал.

Женщина с ребёнком — та, что пела без слов. Ребёнок спал. Женщина на трапе обернулась, посмотрела на палубу, на корму, где горел ночами фонарь, — и кивнула. Не Кассиану. Кораблю.

Два подмастерья с Мучной. Злые, молодые, с мешком на двоих.

Мужчина с перевязанной рукой. Молчал всю дорогу. Молчал и сейчас.

Девочка лет двенадцати, одна. Кассиан не помнил, с кем она поднималась на борт. Ни с кем, наверное. Она сошла по трапу, встала на пристани и стояла, не зная, куда идти. Потом к ней подошла женщина с ребёнком и взяла за руку.

Двадцать. Тридцать. Сорок.

Окунь с Яном. Окунь задержался на трапе. Кассиан ждал, что он что-то скажет. Старик долго смотрел на него снизу — у Окуня были маленькие, светлые, рыбьи глаза, в которых ничего нельзя было прочесть.

— Под водой, — сказал Окунь наконец. — Под Ордисом. Стучало. Двадцать лет. Я говорил — никто не верил. Эта, Соль, — сказала: в ушах.

— Я знаю, — сказал Кассиан.

— А теперь не стучит. — Окунь пожевал губами. — Это ты?

Кассиан не знал, что ответить.

— Это дверь, — сказал он. — Её закрыли.

Окунь кивнул, как будто так и думал.

— Плохо, когда стучат, — сказал он. — А когда перестали — ещё хуже. Не знаешь, ушёл он или стоит и слушает.

Он взял Яна за руку и сошёл на пристань.

Пятьдесят. Пятьдесят пять.

Старуха с прялкой сошла последней. Она тащила прялку сама — никому не давала с самого Ордиса, — и на трапе прялка зацепилась за верёвку, и Кассиан хотел помочь, но пальцы не гнулись. Старуха отцепила сама. Сошла. Встала на пристани. Огляделась. Потом вдруг, ни на кого не глядя, села прямо на доски, на краю пристани, у чёрного столба, поставила прялку перед собой, вытащила из-за пазухи моток грязной шерсти — и начала прясть.

Кассиан смотрел на неё. Колесо пошло. Сначала неровно, с запинкой, как ходит человек, который долго лежал. Потом — ровнее.

Она не пряла с Ордиса. Три дня держала прялку, как ребёнка, и не пряла.

Шестьдесят один.

— Всё, — сказал Кассиан Рене. — Шестьдесят один. Никого не потеряли.

Рена стояла у грот-мачты, сложив руки на груди, и смотрела на пристань. Она кивнула не сразу.

— Шестьдесят два, — сказала она. — Коза.

Коза стояла у рыма и жевала угол одеяла. Одеяло было уже почти съедено.

— Коза остаётся, — сказала бабка Сорель с камбуза. — Молоко.

— Она не доится, бабка.

— Раздоится.

Рена посмотрела на козу. Потом на Сорель. Потом махнула рукой и ушла на берег — искать одноногую Лаас, хлеб и воду.

* * *

Ярина нашла его в сараях.

Он не собирался туда идти. Он собирался сидеть на баке и ждать, пока Тур с Пеппи и Марно будут катать по пристани бочки к колодцу. Но на баке было тихо, и в тишине он слышал.

Не ушами.

Это было как в храме, в первые дни после вспышки, — граница под полом, сквозняк из-под половиц, оттуда, где у людей обычно ничего нет. Только сильнее. И не под полом. Под всем берегом. Ветлы стояли на сквозняке, как дом на погосте.

Он пошёл на сквозняк.

Сараи были у самой воды, за складами, — длинные, низкие, из почерневших досок, с дырявыми тростниковыми крышами. Раньше в них сушили сети, наверное. Сейчас в них жили. На соломе, на мешках, на голой земле, плечом к плечу, — сотни. Дети. Старики. Женщины. Мужчин мало. Кашель. Запах — тяжёлый, сладкий, как запах в доме, где давно не открывали окон и где кто-то болеет.

Кассиан шёл между ними, и они смотрели на него. На его серую рясу. На замотанные руки. На лицо — он знал, какое у него лицо, Рена говорила: «как у утопленника, которого вытащили и забыли сказать, что можно не быть утопленником». Смотрели и отодвигались. Не все. Многие.

От него шёл холод. Он знал. Солома под ногами, где он проходил, седела.

В дальнем конце третьего сарая лежала женщина.

Она лежала на мешке, на боку, лицом к стене, под чужим тулупом. Рядом сидел мальчик лет шести и держал её за руку. Больше никого. Мальчик не плакал. Он смотрел на мать так, как смотрят на свечу, которая вот-вот погаснет: внимательно, не моргая, чтобы не пропустить.

Сквозняк шёл оттуда.

Кассиан остановился.

Он не хотел. Он стоял и не хотел так сильно, что заболело в груди — там, где у него теперь медленно и тяжело, как издалека, било сердце. Он знал, что будет. Он видел это шестьдесят девять дней — в храме, на дороге, на Штиле, в Ордисе. Граница рядом. Женщина на ней. Он подойдёт, сядет, возьмёт за руку — и она его увидит. Они всегда его видят. И спросит, куда идти.

А идти было некуда.

Он закрыл дверь.

— Касс.

Ярина стояла у входа в сарай, тёмная против света. Он не слышал, как она подошла. Она подошла к нему, медленно, между лежащими, и встала рядом. От неё пахло ивой — она, наверное, шла берегом.

— Сорель сказала, ты пошёл сюда, — сказала она. — Как пёс на запах. Она волнуется.

— Она там, — сказал Кассиан. — На границе. Женщина.

Ярина посмотрела.

— Ты не обязан, — сказала она тихо.

— Я знаю.

— Сорель сказала: если он ещё раз остановится, я его сама утоплю, чтобы не мучился.

— Я знаю.

Ярина помолчала.

— Но ты пойдёшь, — сказала она. Не спросила.

Кассиан не ответил. Он пошёл.

* * *

Он сел на землю у мешка. Мальчик посмотрел на него, на рясу, на руки, и не отодвинулся. Мальчики редко отодвигаются. Взрослые знают, что холод — плохо. Дети просто чувствуют, что холодно.

— Это твоя мама? — спросил Кассиан.

Мальчик кивнул.

— Как тебя зовут?

— Тис.

— Тис, я посижу с вами. Можно?

Мальчик подумал и кивнул снова.

Кассиан положил свою замотанную ладонь на тулуп — туда, где под ним было плечо женщины. Ладонь не чувствовала. Это было неважно. Ему не нужны были пальцы. Ему нужно было то, что под пальцами.

Граница была близко. Ближе, чем у Агаты на мельнице. Ближе, чем у Пула. Она была прямо здесь, под мешком, под землёй, под Ветлами, — холодная, широкая, тихая, — и женщина стояла на ней. Одной ногой. Почти всем телом.

И она его увидела.

Она не повернулась. Не открыла глаз. Но он почувствовал, как она увидела — как чувствуешь в темноте, что на тебя смотрят.

— Мальчик, — сказала она. Не вслух. Он слышал её не ушами, как слышал всех, кто стоял на этом месте. — Ты кто? Тут холодно. Тут… река.

— Я провожаю, — сказал Кассиан. Тоже не вслух. — Я с тобой.

— Тис…

— Тис здесь. Держит тебя за руку. Он не плачет. Он хороший.

— Он хороший, — согласилась она. И Кассиан почувствовал, как она улыбнулась — там, на берегу, а не здесь, на мешке. — Мальчик. Куда мне идти? Там вода. Широкая. А моста нет.

Вот.

Вот оно.

Кассиан видел реку. Он закрывал глаза — и видел её, всегда, как видят пятно от солнца на веках: туман, широкая тёмная вода, которая течёт и не рябит, серый галечный берег. И ряды. На берегу — ряды, как рожь в поле, десятки тысяч — те, кто умер с ночи вспышки и так и не перешёл. Он открыл дверь под Ордисом — и белая дорога легла через реку, и мёртвые Ордиса пошли по ней и ушли в туман. А потом он закрыл. Вдохом. Своими руками. И дорога свернулась с дальнего конца, как убирают сходни.

Те, кто не успел, стояли теперь на воде. Посреди реки. Не на том берегу и не на этом.

А новые — те, кто умирал после, — приходили на серый галечник и становились в ряды. И ждали лодки, которой не было.

Женщина из сарая стояла у самой воды. Растерянная, в чужом тулупе, босая, как они все. Смотрела на реку.

— Там нет моста, — сказала она снова. — Мальчик, ты же провожаешь. Проводи.

Кассиан сидел на земле в сарае в Ветлах, положив на тулуп руку, которая ничего не чувствовала, и не мог сказать ни слова.

Свирель лежала у него на груди. На синем шнурке. Тёплая, едва-едва.

Он мог. Он знал, что мог. Приложить её к губам здесь, сейчас, — и сходни лягут. Не через всю реку, нет — для этого нужны были врата, арка, чёрная кость величиной с дом, — но для одного человека. Как на Штиле. Как с Янеком, сыном Сорель. Узкая белая полоса от края до тумана.

И сердце встанет. Сорель сказала: с каждым разом дольше. Минута. Больше минуты. Тур может не успеть. Тур на пристани, катает бочки.

Он поднял руку к груди.

— Касс, — сказала Ярина у него за спиной. Очень тихо. — Посмотри на неё сначала. Не на реку. На неё.

Он посмотрел.

Женщина на берегу больше не смотрела на реку. Она смотрела назад. Через плечо. Туда, откуда пришла. Туда, где под тулупом, на мешке, в сарае лежало её тело, и маленький мальчик держал его за руку.

— Тис, — сказала она.

— Он здесь, — повторил Кассиан.

— Он один останется.

— Не один, — сказал Кассиан. И сам не знал, правда ли это. — Тут много людей. Тут есть одноногая женщина, Лаас, она кормит. Тут… — Он оглянулся. — Тут есть Ярина. Она поможет. Она найдёт, кому его отдать.

Ярина за его спиной ничего не сказала. Но он почувствовал, как она положила руку ему на плечо.

— Тогда ладно, — сказала женщина на берегу. И вдруг повернулась к реке — спокойно, как поворачиваются к двери, когда всё сказано. — Тогда я постою. Подожду. Тут все стоят, видишь? Значит, лодка будет. Не может же не быть.

Она шагнула к воде.

И осталась стоять. В первом ряду. С краю. Между стариком в сером кафтане и солдатом в кольчуге. Босая. Тихая. Лицом к туману.

Женщина на мешке вздохнула — один раз, длинно, — и перестала.

Мальчик Тис смотрел на неё. Потом поднял глаза на Кассиана.

— Она уснула? — спросил он.

Кассиан хотел сказать «да». Он умел говорить это. Он говорил это детям в Нижнем Вельде, сто раз, Тальберт учил: «Детям говори то, что они смогут понести. Остальное понесут потом, когда вырастут».

— Нет, — сказал он. — Она ушла. Она стоит у реки. Она сказала, что подождёт.

Мальчик подумал.

— Долго?

Кассиан не ответил.

* * *

Тиса забрала одноногая Лаас.

Ярина нашла её у складов — сухую, тощую, на деревянной ноге с железной оковкой, которая стучала по доскам пристани, как молоток. Лаас посмотрела на мальчика, на Ярину, на Кассиана — особенно на Кассиана, долго — и сказала: «Давай». И протянула руку. И мальчик пошёл. Просто взял её за руку и пошёл, как будто так и надо.

— У меня их сорок, — сказала Лаас Ярине через плечо. — Сорок один теперь. Кормлю чем бог пошлёт. Бог посылает мало. Последнее время вообще ничего. Вы же с «Неверной»? С Тарвес?

— С «Верной», — сказала Ярина.

Лаас фыркнула.

— Перекрасилась, значит. Ну-ну. — Она пошла по пристани, стуча ногой. Мальчик шёл рядом. — Скажите вашей капитанше: вода в колодце у таможни, хлеб — у меня, по цене, которую она знает. Вдвое от весенней. И пусть не торгуется. Я сегодня не в духе.

Они смотрели, как она уходит.

— Касс, — сказала Ярина.

— Что?

— Ты не провёл её.

— Нет.

— Почему?

Он долго молчал. Они стояли на пристани у чёрного столба, и рядом, у его подножия, старуха с прялкой пряла, не поднимая головы, и колесо шло ровно.

— Потому что она не хотела идти, — сказал Кассиан. — Она хотела, чтобы мост был. А не чтобы я её перевёл. Это разное. — Он помолчал. — И потому что я испугался. Что Тура нет рядом.

— Это честно.

— Это стыдно.

— Одно другому не мешает. — Ярина посмотрела на него. — Ты знаешь, сколько их там? На берегу?

— Нет.

— А я знаю, — сказала Ярина. — Я опись переписывала полжизни. Я считаю всё, что вижу. Каждый день в мире умирает… — Она замолчала. — Неважно. Много. С ночи вспышки — шестьдесят девять дней — никто не перешёл. Кроме тех, кому ты сам открыл дорогу. Остальные — стоят.

— Я знаю.

— И будут стоять, пока…

— Я знаю, Соль.

Она замолчала.

Колесо прялки шло. Старуха вытягивала нитку — серую, неровную, толстую, — и наматывала, и снова вытягивала. Кассиан смотрел на нитку. Потом старуха вдруг подняла голову,

посмотрела прямо на него — глаза у неё были светлые, выцветшие, как у Окуня, — оторвала конец нитки длиной в локоть и протянула ему.

Он взял. Замотанной рукой. Нитка легла на льняную полоску, серая на белом.

— Чтоб помнил, — сказала старуха. Голос у неё был скрипучий, как её колесо. Это были первые слова, которые Кассиан от неё слышал. — Кто держал, тот и отпускает.

И снова опустила голову к прялке.

* * *

Ночью он проснулся оттого, что не стучало.

Не в Ветлах — в нём.

Он лежал в гамаке под бушпритом, у воды, под деревянной женщиной, и слушал, как не стучит. Тишина была внутри. Ровная, глухая, как в колодце. Он не испугался — он уже не пугался этого — и стал считать, как Ярина учила. Раз. Два. Пять.

На десяти он перестал считать, потому что берег пришёл раньше.

* * *

Туман. Галька. Река.

Он стоял у самой воды, в первом ряду, и река текла мимо, тёмная, медленная, не рябя. На этом берегу — ряды. Он не оборачивался, но знал, что они там: тысячи, десятки тысяч, тихие, как рожь, когда нет ветра. Где-то среди них — женщина из сарая в чужом тулупе. Пул уже перешёл. Здесь его не было. Здесь стояли те, кого Кассиан не знал и не узнает никогда.

А на реке, посреди, на воде, которая не двигалась, стояли те, кто не успел.

Он видел их. Тысячи. Они стояли поодиночке и группами, на равном расстоянии друг от друга, как вешки на мелководье, — посреди течения, которое текло мимо и не уносило их. Матрос. Женщина в тёмном платке. Мальчик лет семи. Старик. Все лицом к туману. Все неподвижные.

И ближе всех к нему, в трёх шагах от того места, где кончалась белая дорога, — Лира.

В синем платье. Босая. Правая ладонь раскрыта, и в неё идёт нитка — тонкая, светлая, как паутинка в утреннем лесу. Волосы короткие, по плечи. Она стояла на воде, как стоят на льду, — чуть расставив ноги, чтобы не поскользнуться. И смотрела на него.

— Лира, — сказал он.

Она смотрела. Не улыбалась. Не плакала. Просто смотрела — так, как смотрела на него в детстве, когда он делал что-то, чего она не понимала, и она ждала, пока он объяснит.

Он не мог объяснить.

Он шагнул к воде — и вода не пустила. Она была твёрдая у кромки, как стекло, а дальше — живая, текучая, — и он не мог ступить ни на ту, ни на другую.

— Ты закрыл, — сказал голос.

Кассиан поднял голову.

На том берегу, за рекой, за туманом, лежало огромное. Он видел его и раньше — на «Неверной», в первую ночь, в Ордисе, у арки. Как гора под снегом. Как туча, которая легла на землю отдохнуть. Неподвижное. Не спящее. Туман над ним поднимался медленно, как поднимается пар над тёплой водой зимой.

Голос был ровный. Не громкий и не тихий. Каждое слово ложилось отдельно, как кладут гири на весы — одну, потом другую, без спешки, глядя, как дрожит стрелка.

— Ты закрыл, — повторил голос. — Они стоят. Ты знаешь, сколько их?

— Нет, — сказал Кассиан.

— Я знаю. Я считаю всех, кто стоит у воды. Это моё дело — знать, кто сколько должен и кому. Ты должен им. Каждому. Ты держал дверь — и отпустил. Кто держал, тот и отпускает.

Кассиан вздрогнул. Слова старухи с прялкой.

— Я не хотел, — сказал он.

— Я не спрашивал, чего ты хотел. Я сказал, сколько ты должен. — Голос помолчал. Туман над горой поднялся и опал, как поднимается и опадает грудь. — И ей. Ей ты должен больше всех. Ты обещал. До самого порога. Ты проспал. Ты закрыл. Она стоит на воде, мальчик Перехода. Одна. Посреди реки. Кто её туда поставил?

— Я, — сказал Кассиан.

— Ты, — согласился голос. Без злобы. Без радости. Как соглашаются с цифрой в описи. — Долг есть долг. Он не умирает. Его наследуют. Его платят. Или он ест того, кто должен. Ты чувствуешь, как он тебя ест? Твоё сердце. Каждый раз дольше.

Кассиан молчал.

— Я могу заплатить, — сказал голос.

Тихо. Так тихо, что Кассиан не сразу понял.

— Я плачу всегда, — сказал голос. — Спроси любого, кто мне должен. Я не беру больше, чем стоит. Я не даю меньше, чем обещал. Мера за меру. Ты отдашь — я отдам. Её. Целую. Тёплую. Здесь, на этом берегу. Не на воде — на земле. С хлебом в руке. С вихром, который ты ей позволишь пригладить.

Лира на воде смотрела на него.

— Что я должен отдать? — спросил Кассиан.

Он не хотел спрашивать. Он знал, что нельзя спрашивать. Тальберт говорил: «Если тебя торгуют на границе — не спрашивай цену. Цена всегда больше, чем ты можешь». Но слова вышли сами, как выходит воздух.

Гора за рекой не ответила сразу.

— Ты знаешь, где я, — сказала она наконец. — Тебе показывали. Тебе показывали с самого начала, только ты смотрел не туда. Иди туда, где вода не движется. Там она стоит. Там я жду. Там поговорим.

— Это не ответ.

— Это начало ответа. Ты закрыл дверь вдохом, мальчик Перехода. Значит, умеешь не только выдыхать. Значит, умеешь брать. Это хорошо. Тот, кто умеет брать, умеет и платить.

Туман над горой лёг.

Лира на воде вдруг шевельнулась. Подняла правую руку — ту, в которую шла нитка. Как будто хотела пригладить что-то. Или помахать. Или остановить его.

Он не понял.

* * *

Он проснулся от того, что его держали.

Две руки. Огромные, горячие, сухие. Одна — на запястье, как держат птенца. Другая — между лопаток, плашмя. Ладонь Тура. Он узнал её раньше, чем открыл глаза: так держат канат, который вот-вот лопнет.

Сердце ударило. Глубоко. Тяжело. Издалека.

Потом ещё раз.

Над ним был не туман, а парусина гамака и деревянная женщина на бушприте, и рядом с ней — лицо. Нет, два. Тур — молчаливый, огромный, в инее до бровей, с белой бородой, хотя борода у него была чёрная. И Ярина. На коленях на мокрой палубе, в одной рубашке, с шалью на плечах, — с открытым ртом. Шевелила губами.

Считала.

— …семьдесят два, — сказала она вслух, хрипло. — Семьдесят три. Есть. Тур, есть, отпусти. Есть.

Тур не отпустил. Он держал ещё долго — пока не ударило в третий раз, и в четвёртый, — и только тогда разжал руки и сел на палубу, тяжело, как садится человек, который нёс что-то очень далеко.

Вокруг гамака на три шага всё было белое. Палуба. Канаты. Бушприт. Деревянная женщина на нём стояла вся в инее, с ледяной слезой на облупленной щеке. За бортом — Кассиан видел через сетку гамака — вода вокруг носа «Верной» застыла тонкой серой коркой, как застывает лужа ночью в начале зимы. В Ветлах. Где ивы ещё не облетели.

— Семьдесят три, — сказала Ярина. Она обхватила себя руками. Её трясло. — Касс. Семьдесят три. В прошлый раз было пятьдесят пять. Сорель говорила — с каждым разом дольше. Сорель права. Я считала. Я не Тур, я опись переписываю, я умею считать.

— Я знаю, — сказал Кассиан. Голос вышел шёпотом.

— Что ты там делал? Ты не дул. Свирель у тебя на груди. Ты не дул, а оно… — Ярина замолчала.

Кассиан посмотрел на свою руку. Замотанную. На ней лежала серая шерстяная нитка — та, старухина, в локоть. Он не помнил, как намотал её на запястье поверх льняной полоски. Но она была там.

— Он говорил со мной, — сказал Кассиан.

Тур поднял голову.

— Кто? — спросила Ярина.

— Тот, за рекой. — Кассиан смотрел в небо. Звёзды над Ветлами были на своих местах. Почти. — Он сказал, что считает всех, кто стоит у воды. Что я должен. Им. И ей. И что он может заплатить.

Ярина молчала долго.

— Чем? — спросила она наконец.

— Ею. Целой. Тёплой. С хлебом в руке.

— А что взамен?

— Не сказал. Сказал — иди туда, где вода не движется. Там поговорим.

Ярина смотрела на него, и в её лице было что-то, чего он раньше не видел. Не страх. Хуже. Так смотрит человек, который переписывает опись и вдруг видит в чужой графе своё имя.

— Касс, — сказала она очень тихо. — Ты знаешь, как называется, когда тебе предлагают то, что ты хочешь больше всего, и не говорят цену?

— Как?

— Кабала, — сказала Ярина. — В Ордисе так называлось. У бондарей. У ростовщиков на Таможенной. Я двенадцать лет переписывала такие долги. Ни один не был уплачен. Ни один. Они только росли.

Тур молча встал, снял с себя бушлат — огромный, пахнущий дёгтем и рыбой, — и накрыл им Ярину поверх шали. Потом — так же молча — поправил Кассиану шнурок на шее, как поправляют ребёнку воротник. И ушёл на корму, к штурвалу, тяжело ступая по инею.

Кассиан лежал и смотрел на звёзды.

Нитка шла на юго-запад. Тихо. Ровно. Неотступно.

А рядом с ней — он почувствовал это только сейчас, впервые, — тянуло ещё что-то. Не нитка. Тяжелее. Ниже. Как тянет к земле, когда стоишь на краю обрыва. Оно шло туда же. В ту же сторону. В то же место, где вода лежит стеклом и не дышит.

Туда, где ждали.

Он закрыл глаза.

На берегу Ветлов, у чёрного столба пристани, кто-то в темноте всё ещё крутил колесо прялки. Он слышал его — тихо, ровно, через воду. Как будто кто-то тянул нитку из ничего и не давал ей кончиться.

Глава вторая
Сто сорок четыре

Дарен. Солёная Гавань — дорога — Каменный Трон. Семидесятый — семьдесят первый дни после вспышки.

Мать считала всё.

Дарен помнил это лучше, чем её лицо. Лицо ушло — осталось на портрете в Малой галерее, где она была красивее, чем в жизни, и печальнее, — а привычка осталась. Мать входила в комнату и считала: окна, двери, стулья, людей. Губами, беззвучно. Отец над ней посмеивался. Однажды, когда Дарену было шесть, он спросил её, зачем. Она сказала: «Чтобы знать, что есть. Когда знаешь, что есть, — не так страшно, чего нет».

На её плите в склепе, в пятой нише справа, было выбито одно слово. «Считала».

Сейчас он стоял на палубе «Кречета» у борта, держась за ванты, и считал.

Мачт в Солёной Гавани — сорок две. Он знал, что ошибся, — там, за рыбным рынком, стояли ещё какие-то, — но сорок две были видны. Флагов с кордарским волком — шесть. Флагов с белым солнцем на золоте — один, над Солнечным домом на Соляной улице, новый, яркий, больше остальных. Людей на пристани — он не стал считать. Много. Они стояли вдоль всей набережной и смотрели на «Кречет», на его три мачты и два ряда вёсел, на королевский вымпел, и молчали.

Не кричали. Не махали. Смотрели.

— Знают, — сказал рядом Вендт. Капитан «Кречета» был невысокий, сухой, как вобла, с седыми бакенбардами. — Голубь вперёд нас пришёл. Знают, что Ордис сдали. Знают, что вы — на борту.

— Что ещё знают?

Вендт помолчал.

— Что Корвин стоит у Сухой переправы с тремя полками, — сказал он. — Что Вейгель и Тосс к нему пришли. Что половина домов зовёт вас государем, а половина — ждёт, кто кого. — Он пожал плечами. — Солёная Гавань всегда ждёт, ваше величество. Это порт. Здесь умеют ждать, кто больше заплатит.

«Ваше величество».

Дарен не привык. Столько дней — а не привык. Каждый раз, когда кто-то говорил это, ему хотелось обернуться и посмотреть, кому. Отцу говорили. Отец оборачивался — не головой, плечами, всем телом, тяжело, как поворачивается корабль.

— Сойдём, — сказал Дарен. — Не будем заставлять их ждать.

Он оттолкнулся от вант, перенёс вес на правую ногу, и колено отозвалось — тупо, глубоко, привычно, как отзывается старый пёс, когда его зовут. Три дня на море. Мутило всю дорогу. Колено болело всю дорогу. Он был этому рад.

На трапе, внизу, уже стоял магистр Северин Алей. Ждал. В светло-сером дорожном плаще, с непокрытой головой, седой на висках — так же, как был седой на висках, когда учил его читать двадцать с лишним лет назад. Ветер с моря трепал волосы Ласку, трепал плащи гвардейцев, трепал вымпел.

Магистр стоял и улыбался. Тепло. Чуть грустно. Как улыбаются, встречая на пристани человека, которого очень ждали.

— Ваше величество, — сказал он. И протянул руку — помочь сойти.

Дарен взял.

Рука была сухая, тёплая, гладкая. Как у сорокалетнего. Дарен держал её всю жизнь — когда учился ходить по льду на Нижнем пруду, когда мать умерла, когда впервые сел на коня. Он сошёл по трапу, опираясь на эту руку, как опирался всегда.

Колено перестало болеть.

На три шага. Пока он держал руку магистра — ровно три шага, от трапа до досок пристани, — колено не болело. Совсем. Как будто его не было.

Потом Дарен отпустил руку. И боль вернулась.

Он ничего не сказал. Он улыбнулся магистру в ответ — так, как улыбался всю жизнь, — и пошёл по пристани к людям, которые молчали, перенося вес на правую ногу. Нарочно.

* * *

Голубей было три.

Их принёс капитан порта — толстый, потный, с цепью на шее и с таким лицом, будто он лично отвечал за падение Ордиса. Принёс в комендатуру, в комнату на втором этаже, где для «его величества» успели затопить камин и выставить на стол холодную баранину, хлеб и кувшин вина. Положил на стол три полоски бумаги, скрученные трубочкой, и отступил к двери, кланяясь.

Дарен развернул первую.

Остевин. Старый канцлер писал мелко, аккуратно, старческой рукой, которая уже не держала линию: «Ваше величество. Озёрный, Аппель, Ласк, дом Гримм, дом Остен и город Каменный Трон признали вас. Северные дома — за Корвином: Вейгель, Тосс, Брейде, Хольт. Остальные ждут. Город спокоен. Хлеб дорог. Солнечный дом на Ткацкой раздаёт даром. Ждём. Коронацию готовить? Ваш О.»

Вторая. Хедде. Карандашом, крупно, на обрывке: «Транспорты в Гавани к вечеру. 1100 сабель, 4 машины, 300 раненых. Иду с ними; дальше — сушей за вами. Корвин у Сухой переправы — мой разъезд видел его знамёна. Стоит. Не идёт. Х.»

Третья была без подписи.

Дарен развернул её — и понял, ещё не прочитав, чья. Почерк был отцовский. Нет — не отцовский. Похожий. Отцовский брат.

«Племяннику. Стою у Сухой переправы. Дальше не иду. Жду тебя. Один на один, на мосту, посередине. Без гвардии. Без совета. Без магистра. Спрошу в глаза. Ты обещал. — К.»

Без магистра.

Дарен держал полоску бумаги и смотрел на эти два слова. Дядя подчеркнул их. Один раз, неровно, с нажимом — так, что карандаш прорвал бумагу.

— Корвин? — спросил Северин мягко.

Он сидел у камина в кресле, с бокалом вина, к которому не притронулся. Дарен не слышал, как он сел. Он вообще редко слышал, как магистр входит, садится, встаёт.

— Корвин, — сказал Дарен.

— Позволите?

Дарен помедлил. Совсем чуть-чуть. Так, что сам заметил, и ему стало стыдно, — так стыдно бывает, когда ловишь себя на том, что спрятал от матери конфету, хотя она бы не отняла.

Он протянул бумагу.

Северин прочитал. Дольше, чем нужно было, чтобы прочитать шесть строк. Потом вернул.

— Он подчеркнул, — сказал магистр. — «Без магистра». — И улыбнулся, без обиды, чуть устало. — Ваш дядя всегда меня не любил. С тех пор, как ваш отец впервые послушал меня, а не его. Это было давно. Война с Вельсарой, первая. Вам было три года. — Он отпил

вина. Наконец. — Он предлагает встречу на мосту. Один на один. Это красиво. Это очень в его духе.

— Это то, о чём я его просил.

— Я знаю, ваше величество. Вы писали ему. Лично. Вашей рукой. — Дарен не спросил, откуда магистр знает. Северин никогда не объяснял этого. — «Я тоже хочу спросить его в глаза». Я помню. Это было благородно.

Дарен ждал.

— Позволите сказать то, что вам не понравится? — спросил Северин.

— Вы всегда говорите, что мне не нравится. Говорите.

Северин поставил бокал.

— Человек, который приказал убить вашего отца, стоит в восьми днях от столицы с тремя полками, — сказал он. Тихо. Ровно. Без нажима. — За ним — северные дома. Четыре. В столице — один полк. Хедде идёт с тысячей, у него триста раненых и четыре машины. Если вы поедете на мост один, без гвардии, — вы, возможно, вернётесь. А возможно — нет. Если не вернётесь — у Кордара нет наследника. У Корвина есть сыновья. Двое. Старшему девятнадцать. — Магистр помолчал. — Я не говорю: не езжайте. Я говорю: езжайте с армией за спиной. Встаньте на своём берегу с полками. Пусть он видит, что вы не мальчик, которого можно позвать на мост, как зовут детей поиграть. Пусть он видит государя. Тогда — говорите. В глаза. Сколько хотите.

Это было разумно.

Это было так разумно, что Дарен почувствовал, как напряжение уходит у него из плеч. Как будто кто-то снял с них тяжёлый плащ. Тепло было в комнате — камин, вино, — и от этого тепла хотелось кивнуть. Сказать: да, магистр. Конечно, магистр. Как всегда.

Он перенёс вес на правую ногу. Под столом. Медленно.

Колено ответило.

— Хедде придёт к вечеру, — сказал Дарен. — Поедем вместе. До столицы. Там — посмотрим.

— Как скажете, ваше величество.

Северин встал. Поклонился — чуть, как кланялся всегда, без подобострастия, как кланяются старые друзья семьи. И вышел. Дверь за ним закрылась без звука.

Дарен сидел и смотрел на полоску бумаги.

«Без магистра».

Он вспомнил лодку посреди бухты под Ордисом. Илиссу Вандерграф в синем дорожном плаще. Как ветер разом стих и вода вокруг лодок стала стеклом. Как она сказала, глядя на берег: «Он стоит». А потом — про того, кто три дня держит вам попутный ветер.

Он тогда сказал: я ничего не заметил.

Он заметил. Он заметил, что плащ магистра на берегу не шелохнулся, когда ударил порыв. Заметил — и положил это туда, куда кладут вещи, которые нельзя ни выбросить, ни рассмотреть. В самый низ. Под остальное.

Он вытащил из-за пазухи молитвенник.

Старый, отцовский, в коже, потёртой по углам до белизны. Переплёт был распорот и зашит заново — чёрной ниткой, маркским землемерным узлом с петлёй. Узел был ровный. Ровнее, чем Дарен умел. Он смотрел на этот узел каждый вечер с того дня, как заметил чужую петлю и каждый вечер не позволял себе додумать.

Он раскрыл молитвенник. Между страницами лежал жетон. Дарен вынул его, не трогая шва.

Свинцовый. С ноготь. С дыркой для шнурка. На одной стороне — чаша весов, грубо выбитая, как на дешёвых монетах. Другая сторона — гладкая. Совсем. Как будто кто-то долго тёр её о камень, пока не стёр всё, что там было.

Илисса дала ему это в лодке. Положила в ладонь и сомкнула пальцы. Ничего не объяснила. Сказала только: «В следующий раз в лодке должны быть мы».

Дарен держал жетон над свечой и поворачивал. Гладкая сторона блестела тускло. Ничего. Ни черты.

Он положил жетон обратно между страницами. Под кожей переплёта оставался черновик мира. Мира, которого не будет.

* * *

Хедде пришёл к вечеру семидесятого.

Дарен слышал его раньше, чем видел: к набережной подходили транспорты, один за другим, тёмно-красные, тяжёлые; с пришвартовавшихся сходили люди. Солдаты. Раненые на носилках. Лошади, которых сводили по сходням с завязанными глазами. Четыре осадные машины, разобранные, — их выгружали краном, медленно, с руганью. Над всем этим стоял запах — пота, крови, мокрой шерсти, конского навоза — и голос Хедде. Маршал не кричал. Он просто говорил, и его было слышно на весь порт.

Он поднялся к Дарену в комендатуру уже в темноте. Грузный, седой, с красным лицом, в мокром плаще, с саблей. Пах конюшней. Он всегда пах конюшней, даже на заседаниях совета, даже на похоронах.

— Государь, — сказал он. И поклонился — низко, неловко, как кланяются люди, которые сорок лет кланялись другому.

— Маршал.

— Тысяча сто, — сказал Хедде. — Как писал. Триста раненых — их тут оставлю, в Солнечном доме койки есть, белые предлагают. — Он поморщился. — Не хотел. Больше негде.

— Оставляйте.

— Оставлю. — Хедде помолчал. — Магистр здесь?

— Внизу. С комендантом.

Хедде кивнул. Потом шагнул к столу, взял кувшин, налил себе вина в бокал, из которого пил Северин, — Дарен видел, — посмотрел на бокал, поставил его обратно и налил в другой.

— Корвин стоит, — сказал маршал. — Мой разъезд видел. Знамёна Третьего полка, Хольтовы, Тоссовы. Стоят у переправы, на нашем берегу Сухой. Не идут. Окапываются. — Он выпил. — Знаете, что это значит?

— Что?

— Что он не идёт брать столицу, — сказал Хедде. — Тот, кто идёт брать столицу, не окапывается за восемь дней от неё. Он ждёт. — Маршал поставил бокал. — Чего ждёт, государь?

Дарен протянул ему полоску бумаги.

Хедде прочитал. Долго, шевеля губами, как читают люди, которые учились грамоте поздно. На словах «без магистра» он остановился. Перечитал. Потом положил бумагу на стол и разгладил её ладонью — огромной, красной, в шрамах.

— Под Сухой грядой, — сказал он, — пятнадцать лет назад, мы с ним стояли так же. Он с одной стороны, вельсарцы с другой. Три дня. Он ждал, что они первыми двинутся. Они не двинулись. Он не двинулся. На четвёртый день к нему приехал магистр. От вашего отца. С письмом. — Хедде смотрел в огонь. — Я не знаю, что было в письме. Корвин вышел из шатра белый. Ударил на рассвете. Мы потеряли тысячу двести человек за одно утро. Взяли гряду. Потом отдали её через год по договору. — Он помолчал. — Корвин мне потом сказал, пьяный: «Не прощу. Не за то, что приказал. За то, как сказал». Я тогда не понял, кого он не простит. Вашего отца или магистра.

Дарен молчал.

— Я старый, государь, — сказал Хедде. — Я в политике ничего не понимаю. Я понимаю лошадей. И людей, которые стоят и ждут. Ваш дядя ждёт вас. Одного. Это либо ловушка, либо он правда хочет спросить.

— Магистр считает — ловушка.

— Магистр, — сказал Хедде, — может считать что угодно. — Он снова взял бокал, посмотрел в него. — Вы просили меня забыть, что я вам говорил на Тирессе. Я забыл. Я старый, у меня память плохая.

— Я помню.

— Тогда вы помните, что я сказал про лошадь. — Хедде поставил бокал. — Он завтра поедет с нами?

— Да.

— На той же?

Дарен посмотрел на него.

— На серой, — сказал маршал. — Кобыла. Я её знаю двадцать лет. Двадцать лет одна и та же, государь. Лошади так долго не живут. Не под седлом.

Он поклонился и вышел, тяжело ступая, и Дарен остался один с огнём, бараниной, которую так никто и не тронул, и полоской бумаги, на которой карандаш прорвал два слова.

* * *

Выехали на рассвете семьдесят первого.

Сто сабель Хедде вперёд, гвардия, Ласк, писари, обоз — сзади, медленно. Хедде с остальными шёл днём позже. Дорога от Солёной Гавани до Каменного Трона была одна — старая, мощёная ещё при прадеде, прямая, как стрела, через Сухие Луга, через холмы, мимо Козьего брода, — день верхом, если не жалеть лошадей.

Лошадей меняли на каждой станции. Колено не любило рыси; Дарен переводил коня на шаг, когда боль становилась нестерпимой, потом снова догонял передних.

Луга по сторонам дороги были жёлтые, выжженные, пустые. Здесь не косили — некому было. Беженцы, три тысячи, которые летом шли из Сухих Лугов в столицу, — шли вот здесь, по этой дороге, и Дарен видел следы. Кострища у обочин. Брошенная телега с одним колесом. Детский башмак. Могилы — свежие, без столбиков, просто холмики земли у края дороги, через каждые полмили. Он считал. Губами, беззвучно, как мать.

Двадцать три до полудня.

Северин ехал рядом. Слева. Как по дороге к Солёной Гавани, когда Дарен впервые за много лет увидел его в седле вблизи. Серая кобыла шла ровно, мягко, легко, — мокрая от росы, но спокойная, как в стойле. Северин сидел в седле, как сидят в кресле. Говорил мало. Иногда показывал на что-то — на ястреба над лугом, на старый межевой камень, — и Дарен кивал.

На двадцать четвёртой могиле магистр сказал:

— Ваш отец хотел построить вдоль этой дороги приюты. Через каждые десять миль. Чтобы беженцам было где ночевать. Он говорил мне об этом весной. Не успел.

— Я знаю, — сказал Дарен.

— Вы успеете. — Северин смотрел вперёд, на дорогу. — Когда кончится война. Когда будет хлеб. Когда будет казна, а не Брандт с его счётной доской. Вы построите приюты, и люди будут поминать вас добром. — Он помолчал. — Для этого нужно, чтобы война кончилась. Не перемирием. Не так, как кончалось всегда — на год, на пять. Кончилась.

— Как?

— Так, чтобы больше не начиналась. — Магистр повернул к нему голову. Глаза у него были светлые, тёплые, внимательные. — Ваш дядя не хочет мира, Дарен. Он сам вам это сказал — в письме, после смерти отца: мир для него — предательство павших. Тридцать одна тысяча.

Он будет воевать за Тиресс, пока жив. А Тиресс… — Он вздохнул. — Тиресс — это не земля. Это рана. Её нельзя залечить, пока кто-то её расковыривает.

— Вы хотите, чтобы я воевал с дядей.

— Я хочу, чтобы вы победили, — сказал Северин мягко. — Это разное. Иногда, чтобы победить, не нужно воевать. Иногда достаточно, чтобы противник увидел, что вы готовы. — Он улыбнулся. — Но для этого нужно быть готовым по-настоящему. Люди чувствуют, когда их обманывают. Ваш дядя почувствует.

Дарен ехал и молчал.

Это было правильно. Всё, что говорил магистр, всегда было правильно. В этом и было дело. За двадцать с лишним лет Дарен не мог вспомнить ни одного раза, когда Северин сказал бы что-то, что потом оказалось бы неправдой. Ни одного. Это было как ходить по мосту без единой щели между досками. Ты идёшь — и под тобой гладко, и надёжно, и ровно. И только потом, на середине, тебе приходит в голову: а где же щели? У каждого моста есть щели. Доски рассыхаются. Гвозди ржавеют.

Мост, у которого нет ни одной щели, — это не мост. Это пол. И ты не знаешь, что под ним.

Он думал это, а сверху на эту мысль ложилось тепло — ровное, мягкое, как плед на плечи. И мысль становилась тише. И хотелось думать о приютах вдоль дороги, о хлебе, о том, как отец ел яблоко у окна.

Дарен вынул ногу из стремени. Правую. И свесил её. Без опоры колено сразу заныло — тупо, глубоко, по-собачьи, — и мысль вернулась. Холодная. Такая же, как была.

Северин смотрел вперёд, на дорогу.

— Колено? — спросил он, не поворачивая головы.

— Колено.

— Мазь у меня с собой. Та, от которой вы спали. Хотите?

— Нет, — сказал Дарен. — Спасибо, магистр. Пусть болит.

Северин кивнул — так, как кивают ребёнку, который отказывается от лекарства, и ничего с этим не поделаешь, — и больше не предлагал.

* * *

Козий брод они проехали после полудня.

Дарен не остановился. Он помнил это место — маленький трактир у моста, низкий, с пучками сухой мяты под потолком, с хозяйкой, которая заикалась. Он ночевал здесь, когда возвращался из Северного монастыря. Здесь хозяйка дала ему иглу и чёрную нитку. Разрез в переплёте молитвенника он зашил уже дома, показав лист отцу, — маркским узлом с петлёй, тем самым, которому научился у землемеров в Восточной Марке. Криво. Он всегда завязывал этот узел криво.

Теперь узел был ровный.

Он проехал мимо трактира, не повернув головы. Хозяйка стояла на пороге с ведром и смотрела на всадников. Узнала его — он видел. Поклонилась. Дарен кивнул ей. И поехал дальше.

— Хорошее место, — сказал Северин. — Я здесь ночевал однажды. Давно. Хозяйка заикается. Мята под потолком. — Он улыбнулся. — Вы тоже здесь останавливались, кажется? Этим летом.

— Да, — сказал Дарен.

Он не говорил магистру, что останавливался в Козьем броде на обратном пути из монастыря. Он ездил в Северный монастырь тайно. Об этом знал отец. Илисса. Больше никто.

Он ехал и считал могилы. Тридцать одна. Тридцать две.

* * *

Каменный Трон показался на закате.

Сначала — как облако на горизонте, тёмное, плотное, неподвижное. Потом — как скала. Потом — как город. Он стоял на скале посреди равнины, как стоял всегда, — одна огромная, тяжёлая, серая глыба, торчащая из земли, как кость из раны, и на ней, по уступам, по террасам, по склонам — дома, стены, башни, дворец. Самая устойчивая скала на всём Кордаре. Прадед выбрал её, потому что под ней земля не двигалась тысячу лет. Город, который нельзя потерять.

У подножия скалы — палатки. Сотни. Беженцы.

Они вышли к дороге. Дарен видел их издалека: стояли вдоль обочин, плотно, по двое, по трое, — женщины, старики, дети, мужчины в рваных рубахах. Ждали. Как ждали в Солёной Гавани. Молча.

А потом кто-то крикнул.

Дарен не разобрал что. Крик был один — тонкий, женский, срывающийся, — и сразу же к нему присоединились другие. «Государь!» «Дарен!» «Хлеба!» «Сын Альдрена!» Голоса смешались, нестройные, хриплые, — люди тянули руки, кто-то бросил под копыта его коня пучок жёлтой полыни, кто-то упал на колени прямо в дорожную пыль. Гвардейцы сомкнулись вокруг, оттесняя. Дарен ехал сквозь крик, как сквозь дождь, и смотрел на лица.

Не все кричали.

Он видел и других. Тех, кто стоял молча. Кто смотрел на него и не тянул рук. Кто отворачивался. Женщину с ребёнком на руках, которая смотрела не на него — на магистра. И коснулась лба, губ и груди — старым знаком, от дурного глаза, — и спрятала лицо ребёнка у себя на плече.

У ворот Нижнего двора их встречали.

Остевин — старый, сгорбленный, в парадном кафтане, на палке. Брандт — сухой, с бумагами под мышкой. Граф Аппель, который, кажется, только что проснулся. Молодой Рейнхарт из Озёрного. Человек двадцать придворных. Капитан гвардии. Над воротами — знамя с волком. Чёрное, с золотом. Отцовское.

Нет. Теперь — его.

Он слез с коня сам, перенеся вес на левую ногу, и не стал ни на кого опираться. Остевин шагнул к нему, хотел поклониться — и не смог, спина не гнулась. Дарен взял его за руку. Рука у канцлера была холодная, сухая, старая, с узлами на суставах. Настоящая.

— Государь, — сказал Остевин. И заплакал. Беззвучно, по-стариковски, не вытирая слёз. — Простите. Ваш отец… Я его на руках носил. Простите.

— Ничего, — сказал Дарен. — Ничего, Остевин.

* * *

От Нижнего двора до Совещательного зала — Большая лестница. Сто сорок четыре ступени. Дарен знал их с детства. Каждый в Каменном Троне знал. Люди поднимались по ним и машинально считали — проверяли, что скала стоит, что ступеней столько же, сколько вчера. Сто сорок четыре. Всегда.

Он пошёл вверх.

Колено было против. На каждой ступени оно отзывалось — тупо, глубоко, — и Дарен считал. Губами. Беззвучно.

Двадцать.

Остевин отстал — его вели под руки двое пажей. Брандт шёл рядом и что-то говорил о зерне, о казне, о сорока тысячах марок. Дарен не слушал.

Пятьдесят.

Северин шёл на шаг позади. Слева. Как всегда. Дарен не слышал его шагов. Он вообще редко слышал шаги магистра.

Восемьдесят.

Колено горело. На лбу выступил пот.

— Государь, — сказал магистр негромко, на шаг позади. — Позвольте руку.

Дарен остановился. На девяносто третьей ступени. Посреди лестницы, посреди города, на виду у двадцати придворных, у гвардии, у людей, которые смотрели снизу, с Нижнего двора.

Рука магистра была рядом. Протянутая. Сухая, тёплая, гладкая. Возьми — и колено перестанет болеть. Он знал. Он помнил три шага от трапа до пристани.

Он посмотрел на эту руку.

— Спасибо, магистр, — сказал он. — Я сам.

И пошёл дальше. Девяносто четыре. Девяносто пять.

Северин опустил руку. Без обиды. Без удивления. Шёл на шаг позади, слева.

Сто двадцать.

Сто сорок.

Сто сорок четыре.

Дарен стоял на верхней площадке, у дверей Совещательного зала, задыхаясь, мокрый, с ногой, которая не держала, и смотрел вниз. На лестницу. На город. На скалу, которая стояла тысячу лет. На палатки у подножия. На дорогу, по которой он приехал и которая уходила на восток, к Сухой переправе, где окапывался его дядя.

Сто сорок четыре. Столько же, сколько вчера. Скала стоит.

Он вытащил из-за пазухи огрызок карандаша и клочок бумаги — тот самый, Корвинов, с прорванными словами. На обороте написал, прижав бумагу к холодному камню перил:

«Дяде. Приеду. На мост. Посередине. Один. Назови день. — Д.»

Сложил. Обернулся.

Капитан гвардии стоял в двух шагах.

— Это — в лагерь маршала Хедде, — сказал Дарен. — Не в казённую голубятню. Маршалу. Лично в руки. Пусть отправит своим голубем, с Тиресса, из полевых. Понял?

Капитан понял. Дарен видел это по его лицу.

Магистр стоял у дверей зала. Смотрел на закат. Солнце садилось за равнину, огромное, красное, и свет его лежал на верхней площадке ровно, мягко, тепло.

У Дарена тень была длинная, косая, тёмная — через всю площадку, через перила, вниз по лестнице.

У магистра — бледная. Короткая. Серая, как тень от свечи в полдень. Как будто свет шёл не только из-за его спины, но и откуда-то ещё — от него самого — и съедал её с краёв.

Дарен посмотрел на это. Посмотрел ещё раз. Солнце било в спину магистру, низко, прямо, и тень должна была лечь вперёд, на камень, к ногам Дарена, такая же чёрная, как его собственная.

А потом солнце опустилось за край равнины — и теней не стало ни у кого.

— Пойдёмте, ваше величество, — сказал Северин. — Совет ждёт. Остевин хочет говорить о коронации.

— Да, — сказал Дарен. — Пойдёмте.

Он не позволил себе додумать. Он положил это туда же, куда клал всё. В самый низ. Под плащ, который не шевелится на ветру. Под ровный узел. Под Козий брод. Под руку, от которой не болит колено.

Он только отметил — губами, беззвучно, как мать:

Сто сорок четыре ступени. Одна тень — и одна бледная.

Глава третья
Открытый засов

Сэр Ильяс. Шхуна «Верная», канатный ящик. Шестьдесят девятый — семидесятый дни после вспышки.

Засов был открыт уже два дня, и Ильяс ни разу не тронул дверь.

Он лежал на бухтах каната, на здоровом боку, и смотрел на неё. Дверь была низкая, из толстых досок, потемневших от дёгтя, с щелью внизу, через которую тянуло холодом и светом. Засов снаружи — железный, ржавый, на двух скобах. Отодвинутый. Ильяс слышал, как его отодвинули: в первую ночь, после того как ушёл Кассиан, — скрежет и голос штурмана, унылый, как дождь: «Ну и ладно. Мне меньше таскать».

С тех пор никто его не задвигал.

Он мог встать. Рана в боку болела, но держала — старуха из Ордиса, Роха, зашила её так, как зашивают паруса, крупно и крепко, и сказала: «Если порвёшь — я вернусь из Ордиса и порву тебе второй бок». Он мог встать, открыть дверь, выйти на палубу. Дойти до борта. Прыгнуть. Доплыть до берега, когда берег будет.

Он не вставал.

Он не знал почему. Он думал об этом два дня — лёжа, сидя, глядя на дверь, — и не знал. Двадцать четыре года в Рассвете его учили знать, почему он делает то, что делает. «Рыцарь Света не действует вслепую». Каждый шаг — к свету. Каждое слово — от света. Он всегда знал.

Теперь не знал.

Может быть, потому, что выход — это шаг, а шагнуть было некуда. В Рассвет? Там его отпели. Бертран сказал наверху, что он умер. В Солнечном доме Ордиса пели по нему гимн — ему рассказали. Мёртвые не возвращаются в Рассвет. Мёртвые не возвращаются никуда. Это он теперь знал точно.

Может быть, потому, что выйти — значило признать, что он пленник, которому позволили бежать. А не бежать — значило… он не знал, что это значило.

Может быть, потому, что под головой у него лежала деревянная бусина.

Он нащупал её под канатом. Маленькая, круглая, тёплая от его щеки. Крашеная когда-то давно синим, теперь почти облезла. От сглаза. Однорукий матрос, Феликс, носил её тридцать лет на шее. Хотел выбросить Ильяса за борт. А бусину отдал мальчику. А мальчик — ему.

Ильяс держал её в пальцах и не понимал, что с ней делать.

* * *

Утром пришёл штурман.

Квинт — так его звали — входил всегда одинаково: открывал дверь ногой, ставил на порог миску, садился рядом на палубу, спиной к переборке, и смотрел в потолок. На нём был один сапог свой, другой чужой, велик на два пальца, — Ильяс заметил это в первый же день и запомнил. Он запоминал всё. Его так учили.

Сегодня в миске была каша. Серая, с рыбой. Тёплая.

— Ешь, — сказал Квинт. — Бабка велела. Сказала: если белый не будет есть, она его сама накормит, через воронку, как гуся.

Ильяс сел. Медленно, держась за бок. Взял миску. Ложка была деревянная, обгрызенная по краю.

— Спасибо.

Квинт пожал плечами.

Они молчали. Сверху, через доски палубы, доносились шаги, голоса, плеск. Корабль шёл. Ильяс чувствовал его ход телом — длинный, мерный, с лёгким креном на левый борт. Ветер был южный. Шли на север. Он не видел неба два дня, но знал.

— В Ветлы идём, — сказал Квинт, не глядя на него. — К полудню будем. Там всех ссадим.

— Всех?

— Беженцев. — Квинт почесал щёку. — И тебя, может. Рена ещё не решила.

Ильяс ел кашу.

— Ты узлы вязать умеешь? — спросил вдруг Квинт.

— Нет.

— Паромщик сказал, что я тебя научу. — Квинт вздохнул так, будто ему поручили вычерпать море ведром. — Сказал, ты будешь плохо вязать. — Он полез за пазуху и вытащил обрывок верёвки, в локоть длиной. Бросил Ильясу на колени. — Шкотовый. Смотри.

Он показал. Быстро, двумя руками, не глядя. Петля, обнос, под себя.

Ильяс попробовал. Петля вышла не туда. Обнос — не с той стороны. Узел развалился, когда он потянул.

Квинт смотрел на это с тихим, глубоким удовлетворением.

— Паромщик не врёт, — сказал он.

* * *

Он пробовал шкотовый всё утро, пока корабль шёл к Ветлам, и всё утро узел разваливался.

Это было странно. Ильяс умел многое. Он умел держать меч так, чтобы рука не уставала за час боя. Умел ездить верхом трое суток почти без сна. Умел держать в круге света площадь — триста человек, — и они стояли, спокойные, тёплые, и никто не бежал. Умел молиться так, что ладонь загоралась.

Узел у него не получался.

Он вязал и думал. Про площадь. Про то, как держал тех людей. Слепая старуха в Ордисе сказала ему потом: «Ты держал их, как котят за шкирку. А думал, что гладишь». Он не понял тогда. Теперь, с верёвкой в руках, начинал понимать. Узел — это когда держишь то, что само держит. Верёвка тянет — и узел затягивается. А он всю жизнь держал так, что тянуть было нельзя. Только висеть.

Петля. Обнос. Под себя.

Развалился.

Сверху, над головой, на палубе, кто-то остановился. Двое. Он слышал их через доски — голоса, приглушённые, но различимые: женский, низкий, хриплый, и мужской — нет, молчание. Капитанша. И её боцман, молчаливый великан.

— …к Лаас за хлебом, — сказала Рена. — Вода — у таможни. Два дня. Может, три. Потом…

Она замолчала.

Ильяс держал верёвку и ждал.

— Потом — посмотрим, — сказала Рена.

Шаги ушли.

И тогда — он не сразу понял — у него потеплела ладонь.

* * *

Правая. Та, в которой раньше зажигался свет.

Она не загорелась. Она не загоралась с той ночи под Ордисом, с арки, — с тех пор, как кость в руке мальчика вздохнула холодом и шнурок лопнул у Ильяса в кулаке. Он молился с тех пор много раз. Свет приходил. Сразу, щедро, тепло, как приходил всегда, — ложился на плечи, на лоб, снимал боль в боку. Но в ладонь не шёл. Как вода, которая течёт мимо перекрытой трубы. По коже. Снаружи.

Сейчас было то же. Тепло легло на ладонь снаружи. Как будто кто-то положил свою руку поверх его руки. Мягко. Ласково. Внимательно.

Ильяс смотрел на свою ладонь.

Он не молился. Он не звал. Он сидел с верёвкой и вязал узел, который не получался, и над головой капитанша сказала «посмотрим» — и тепло пришло. Само.

Он медленно сжал пальцы.

Тепло не ушло. Оно лежало на кулаке, как ложится солнечный луч на руку, когда сидишь у окна. Потом — медленно, без спешки — ушло само. Как уходит человек, который заглянул в комнату, увидел, что всё в порядке, и тихо прикрыл дверь.

Ильяс сидел и смотрел на свою руку.

Это ничего не значило. Свет всегда с ним. Свет видит всех, кто ему служит. Так учили в Рассвете. «Ты никогда не один, брат. Ты в круге». Свет приходит, когда нужно. Свет знает, когда нужно.

Почему сейчас?

Ему не было нужно. Он не был в опасности. Ему не было больно. Он вязал узел.

Над головой капитанша сказала: «Два дня. Может, три. Потом — посмотрим».

* * *

В Ветлы пришли к полудню.

Он слышал это через доски. Голоса. Много голосов — с берега, с пристани, с лодок. Скрип причальных канатов. Плеск. Кто-то кричал «Ордис!», и крик подхватили, и он покатился, как камень с горы, всё дальше и дальше. Потом — шаги на палубе. Десятки шагов. Медленных, шаркающих, тяжёлых. Люди сходили. Он слышал, как они идут к трапу, мимо его двери, над головой, один за другим, — и как мальчишеский голос, ровный, усталый, считает: «…сорок восемь. Сорок девять…»

Кассиан. Считал.

Ильяс лежал и слушал.

Шестьдесят беженцев. Он не видел ни одного из них. Он лежал в канатном ящике, пока их везли из горящего Ордиса, — пока они грелись у одних с ним досок, ели ту же кашу, слушали ту же козу. Женщина пела над ребёнком колыбельную без слов. Он слышал её каждую ночь. Однажды подумал, что так пела мать. Потом не смог вспомнить, пела ли мать.

Он не знал их лиц. Они не знали его. Для них он был белый в ящике. Один из тех, кто держал площадь, пока горел архив.

Одиннадцать человек тогда погибло. Он запомнил число.

— …шестьдесят один, — сказал голос Кассиана наверху. — Всё. Шестьдесят один.

Ильяс закрыл глаза.

* * *

Днём пришёл однорукий.

Ильяс не ждал его. Дверь открылась — не ногой, как у Квинта, а рукой, единственной, левой, медленно, — и в проёме встал Феликс. Невысокий, жилистый, седой, с обрубком правой руки, завёрнутым в кожаный чехол. Лицо — как старый сапог. Он стоял и смотрел на Ильяса.

Ильяс сел.

Феликс смотрел долго. Потом его взгляд опустился ниже — на канат у Ильяса под головой. На то место, где из-под каната виднелся облезлый синий бок бусины.

— Лежит, — сказал Феликс.

— Лежит, — сказал Ильяс.

Феликс шагнул внутрь. Сел на порог, как садился Кассиан, — ногами на палубу, спиной к косяку. Достал из-за пазухи трубку, кисет. Одной рукой, ловко, привычно, набил трубку, зажал кисет коленями, высек огонь. Затянулся. Дым пошёл в ящик — горький, крепкий, дешёвый.

— Я хотел тебя за борт, — сказал Феликс.

— Я знаю.

— Хочу и сейчас.

— Я знаю.

Феликс пыхнул трубкой.

— Я тебя видел, — сказал он. — На площади. В Ордисе. Когда архив горел. Я там был — Рена послала за водой, я стоял у колодца с бочкой. И видел, как ты стоишь посередине, руки вот так, — он поднял единственную руку ладонью вперёд, — и вокруг тебя свет. Ровный. Тёплый. И триста человек стоят и не бегут. А за ними — дом горит. И из дома кричат.

Ильяс молчал.

— Одиннадцать, — сказал Феликс. — Я считал.

— Одиннадцать, — сказал Ильяс.

Феликс посмотрел на него. Глаза у него были маленькие, серые, выцветшие от моря.

— Ты знаешь, как я руку потерял? — спросил он.

— Нет.

— Под Ордисом. Двенадцать лет назад. Я в вельсарской морской пехоте служил. Нас высадили у южного мыса — брать метательные машины на мысу. Я шёл первым. И вдруг — понимаешь — почувствовал: смотрят. Сверху. С холма. Как будто кто-то глаз на меня положил. Я не видел, кто. Я просто знал: смотрят, и сейчас ударят. Я крикнул своим: ложись. Они не легли. Я лёг. Горшок упал туда, где я стоял. Рука — тоже туда. — Феликс постучал кожаным чехлом по колену. — Остальные шестеро — тоже туда. Целиком.

Ильяс молчал.

— С тех пор я чую, — сказал Феликс. — Когда смотрят сверху. Не всегда. Но чую. Как свербит под лопаткой. — Он затянулся. — Ещё после бури на него смотрели. Я чуял. Поэтому бусину отдал. А на Штиле, когда он стоял на носу и мёртвые шли, — опять почуял. Мать дала, когда я в морскую пехоту шёл. От дурного глаза. Тридцать лет не снимал.

— Почему ему отдал?

— Потому что на него смотрели. — Феликс выпустил дым. — Не с холма. Выше. Я не знаю откуда. Просто — сверху. И не злое. Вот что странно. Ровное такое. Как будто хозяин из окна на двор глядит.

Ильяс почувствовал, как у него холодеет спина.

— А теперь? — спросил он.

Феликс долго молчал.

— А теперь, — сказал он, — смотрят через тебя.

* * *

Он сказал это просто. Как говорят «дождь будет» или «вода кончилась». Встал. Выбил трубку о косяк, аккуратно, чтобы искры не упали на канат.

— Я не знаю, что это значит, — сказал Феликс. — Я в морской пехоте служил, не в храме. Но с тех пор, как руку потерял, чую. И в тебе свербит. Не всегда. Иногда. Когда наверху про курс говорят — свербит. Когда паромщик мимо идёт — свербит. Когда Рена карту свою достаёт — свербит так, что спина чешется. — Он посмотрел на Ильяса сверху вниз. — Я Рене сказал. Она сказала: Феликс, ты старый, у тебя культя к погоде ноет. Может, и так.

Он вышел. В дверях обернулся.

— Бусину не выбрасывай, — сказал он. — Она не тебе. Она — чтобы знать, куда смотрят. Если потеплеет — значит, смотрят.

Дверь закрылась. Засов не скрипнул. Феликс его не тронул.

Ильяс сидел в темноте, в дыму дешёвого табака, и держал бусину в ладони.

Она была тёплая. Но он держал её в руке — от руки и тёплая. Это ничего не значило.

* * *

Вечером он молился.

Он молился каждый вечер столько лет, и не знал, как не молиться. Это было как дышать. Как ставить ногу на землю. Вечерний гимн Рассвета — тот, который поют на закате, когда братья встают у окон на запад и провожают солнце. «Ты уходишь — и остаёшься. Ты гаснешь — и светишь. Ты видишь нас во тьме, как мы видим тебя при свете».

Он пел его про себя, шёпотом, лёжа на канате. Слова шли сами.

Ты видишь нас во тьме.

Он остановился.

Тепло уже было здесь. Он не дошёл до конца первой строки. Оно пришло — ровное, мягкое, огромное, — легло на плечи, на лоб, на больной бок. Боль ушла. Стало хорошо. Так хорошо, как бывает только в детстве, когда засыпаешь у печки и мать поправляет тебе одеяло.

Я тебя вижу, сказало тепло. Не словами. Как говорит огонь, когда ты протягиваешь к нему руки. *Спи. Ты устал. Ты хорошо служил.*

Он лежал, и ему хотелось спать.

Но мысль — та, которая начала думаться утром, над узлом, — не легла. Она стояла на краю, как стояла теперь всегда. Как девочка в сером, с руками в муке, на берегу у реки. Стояла и не уходила.

Он отвечает раньше, чем я спрашиваю.

Это было не новое. Он заметил это ещё на корабле Стражи, в погоне, когда попросил знака и знак пришёл — до того, как он закончил просить. Тогда он подумал: свет знает, чего мы просим, ещё до того, как мы попросим. Это милость.

Теперь думал другое.

Он не ждёт, пока я позову. Он уже здесь. Он здесь всё время. Он не приходит. Он… смотрит.

Тепло на лбу стало мягче. Ласковее. *Не надо*, сказало оно. *Это больно. Спи.*

Ильяс перенёс вес на раненый бок.

Боль вернулась — разом, остро, как от удара, — и мысль осталась. Холодная. Ясная. Он лежал, прижимая бок к канату, и дышал сквозь зубы, и удивлялся: столько лет он просил свет забрать боль. Ни разу не подумал, что боль может быть нужна.

Боль — это якорь. Боль — это твоё. Её нельзя у тебя отнять, потому что никто не захочет её брать.

Тепло лежало на нём. Не уходило. Не давило. Просто было — внимательное, терпеливое, — как свет лампы над столом, за которым ты пишешь. Ты можешь писать что хочешь. Лампе всё равно. Она просто светит. И всё, что ты пишешь, видно.

* * *

Ночью пришёл холод.

Он проснулся от него — не от холода в ящике, где всегда было сыро и знобко, а от другого. Холод шёл с носа. Сверху и спереди, оттуда, где под бушпритом, у самой воды, спал в гамаке Кассиан. Ильяс знал, что он там спит. Знал так же, как знал, где на корабле корма.

Холод шёл волной. Медленной, тяжёлой, как идёт прилив. Через доски палубы. Через переборку. Через канат, на котором он лежал. Он видел в темноте, как на смоляных волокнах проступает иней — белым пухом, тонким, как плесень.

Мальчик не дышал. Ильяс не мог этого слышать. Но знал.

А на его ладони — правой, перекрытой, мёртвой — проснулось тепло.

Не так, как вечером. Не ласково. Сильно. Оно не легло на руку — оно впилось в неё, как впиваются пальцы, когда хватают. И потянуло. Вперёд. К носу. К холоду. Как тянет пламя свечи к щели, из которой дует. Как тянется голова, когда за стеной говорят что-то важное и хочется расслышать.

Ему захотелось встать.

Встать, открыть дверь, выйти на палубу, пройти на нос, к гамаку, — и посмотреть. Просто посмотреть. Положить руку мальчику на грудь. Согреть его. Ему же холодно. Он же умирает. Свет поможет. Свет всегда помогает тем, кому холодно.

Ильяс сел.

Он уже держался рукой за косяк двери. Он не помнил, как встал. Бок горел. Дверь была перед ним — приоткрытая, тёмная, засов отодвинут. Два шага. Палуба. Нос. Гамак.

Помоги ему, сказало тепло. *Ты же хочешь помочь. Ты всегда хотел. Подойди.*

Девочка в сером стояла на берегу. С мукой на руках. И смотрела не на него — на его белый рукав.

Он не знал, почему вспомнил её сейчас.

Ильяс медленно разжал пальцы на косяке. Опустился обратно на канат. Сел. Прижал правую ладонь — горячую, тянущую, чужую — к груди. Левой рукой накрыл сверху. И держал. Изо всех сил. Как держат дверь, в которую ломятся.

— Нет, — сказал он вслух. Шёпотом. Ни к кому.

Тепло давило. Тянуло. Потом — на нос, через переборку, через доски, — он почувствовал, как там, у гамака, что-то большое, горячее и сухое легло поверх холода. Две ладони. Не свет. Человеческие. Боцман. Молчаливый великан.

И холод дрогнул. Потом — ещё раз. Глубоко. Тяжело. Как бьёт колокол через реку.

Сердце мальчика. Ильяс не мог его слышать.

Он слышал.

Тепло в ладони ослабло. Не сразу — медленно, неохотно, как отпускает руку человек, который не хочет отпускать. Потом ушло совсем. Как уходит гость, которому больше нечего смотреть.

Ильяс сидел в темноте с прижатыми к груди руками и дышал.

В ладони под его левой рукой было тихо. Пусто. Как всегда теперь.

А под головой, под канатом, лежала деревянная бусина. Он вытащил её. Сжал.

Она была горячая. Не от руки. Он не держал её. Она лежала под канатом, в инее, — и была горячая, как уголь, который только что вынули из печи.

Если потеплеет — значит, смотрят.

* * *

Он не спал до утра.

Он сидел на канате, прислонившись спиной к переборке, и держал в левой руке бусину, а правую — на колене, ладонью вниз. Как держат собаку, которая может укусить. И думал.

Думал медленно, по одной мысли, как вяжут узел, который не получается. Петля. Обнос. Под себя.

Свет приходит, когда говорят про курс.

Свет приходит, когда рядом мальчик с костью.

Свет пришёл, когда мальчик умирал, — и не помочь хотел. Посмотреть.

Свет не приходит ко мне. Свет приходит через меня.

Мысль доходила до края — и он ждал, что сверху ляжет тепло, мягкое, ласковое: *не надо, это больно, спи*. Тепло не ложилось. Ладонь была пустая. Может быть, оно устало. Может быть, ему было неинтересно, о чём думает человек в канатном ящике, — интересно только то, что вокруг него.

Он подумал про Рассвет. Про отца Маттиаса, который клал ладонь на лоб старому брату Вальтеру, и тот засыпал, улыбаясь. Про послушника Хенне, четырнадцати лет, который начал видеть то, чего нельзя, и говорить за трапезой. «Свет принял его». Хенне больше не говорил за трапезой. Хенне вообще больше не говорил. Он ходил по двору Рассвета с тихой, светлой улыбкой и поливал цветы.

Он подумал: а что видел Хенне?

Мысль дошла до края. Тепло не легло.

Под утро, когда в щели под дверью засерело, он взял верёвку Квинта и стал вязать шкотовый. Петля. Обнос. Под себя.

Узел держал.

Ильяс смотрел на него долго. Потянул. Узел затянулся крепче. Держал то, что держало его.

Он вспомнил — вдруг, ни с чего — тесто. Тёплое, мягкое, в деревянной миске. И маленькие руки в нём. По локоть в муке. И голос, смешной, сердитый: «Ильяска, не мешай, я сама». Голос был совсем рядом. Имя было совсем рядом — первый звук мягкий, как корка тёплого хлеба, — он уже чувствовал его на губах…

И не смог.

Не потому, что легло тепло. Тепло не легло. Просто — не смог. Как не можешь вспомнить сон, который только что видел. Оно было там, за краем. Он видел его край. Но вытащить не мог.

Тебе не дают, сказал мальчик в ту ночь.

Помнишь. Тебе не дают. Это разное, сказала слепая.

Ильяс положил узел на колени. Положил рядом бусину. Посмотрел на открытую дверь.

Засов был отодвинут. Он мог встать и выйти.

Но теперь он знал, почему не выходил. Не из гордости. Не из страха. Не из чести пленника.

Он не знал, что вынесет с собой на палубу. Себя — или то, что смотрит его глазами.

Глава четвёртая
Журнал Оссендорпа

Рена Тарвес. Ветлы. Семидесятый день после вспышки.

Ингрид Лаас считала мешки с хлебом так, будто каждый из них был её ребёнком и она отдавала его в чужие руки.

— Восемь, — сказала она. — Девять. Десять. Всё. Больше не дам.

— Мне нужно двадцать, — сказала Рена.

— А мне нужно, чтобы с юга перестали идти люди, — сказала Лаас. — Чтобы у меня было сорок один рот, а не сорок один плюс каждый день ещё пять. Чтобы вельсарцы не взяли Ордис. Чтобы у меня была нога. — Она постучала деревянной ногой по полу склада, железная оковка звякнула о камень. — Мы обе много чего хотим, Тарвес. Десять мешков. Цена — вдвое от весенней. Ты знаешь.

Рена знала. Она стояла посреди склада — длинного, низкого, пахнущего мукой, мышами и мокрым деревом — и прикидывала. Шестьдесят ртов она ссадила. Осталось десять, не считая белого в ящике и козы. Десяти мешков хватит недели на три. Если не жрать.

— Чем платить будешь? — спросила Лаас.

Рена полезла за пазуху и вытащила пачку бумаги. Толстую, мятую, с печатями. Бумагу Союза Вольных Земель, которую Лаас сама дала ей в прошлый заход за шестьдесят ящиков наконечников.

Лаас посмотрела на пачку. Потом на Рену. Потом засмеялась — хрипло, коротко, как кашляет собака.

— Моей же бумагой, — сказала она. — Ну, Тарвес. Ну, наглая.

— Это бумага Союза. Союз ещё есть.

— Союз есть, пока его не съели. Ордис съели. Два княжества на юге — съели. Ветлы — следующие, через месяц, через два. — Лаас взяла пачку, взвесила на ладони. — Знаешь, сколько это будет стоить через месяц?

— Знаю. Поэтому и отдаю сейчас.

Лаас фыркнула. Потом отсчитала из пачки треть и вернула остальное Рене.

— За десять мешков — хватит. — Она сунула бумагу в карман фартука. — Остальное оставь себе. На растопку. Или на память.

— Спасибо.

— Не за что. — Лаас помолчала. — Мальчик твой. Худой. В рясе.

— Он не мой.

— Ну, не твой. — Лаас смотрела на неё внимательно, по-мужски, прищурив один глаз. — Он вчера в сараях сидел. У Тисовой матери. Я видела. Когда он ушёл — у неё на лбу иней был. А в сарае люди потом полночи не спали, шептались. Говорят, проводник. Говорят, мёртвые его видят.

Рена промолчала.

— Говорят, из-за него в Ордисе дверь закрыли, — сказала Лаас. — И теперь никто не уходит.

— Кто говорит?

— Все. — Лаас пожала плечами. — Беженцы с Ордиса. Шестьдесят человек, Тарвес. Ты думала, они будут молчать? Они его на палубе всю дорогу видели. — Она постучала ногой по полу. — Я тебе так скажу. Мне всё равно, кто он. У меня сорок один ребёнок. Мне нужен

хлеб. Но здесь, в Ветлах, есть Солнечный дом. Маленький. За таможней. Брат Ансельм и трое. Белые. Они тоже слышат, что говорят.

Рена посмотрела на неё.

— Спасибо, — сказала она.

— Не за что, — сказала Лаас. — Бери хлеб. И уходи, когда можешь.

* * *

Ржавый парус она увидела, когда вышла из склада.

Он стоял у дальнего конца пристани, за баркасом с проломленным бортом, — косой, цвета запёкшейся крови, на узком быстром куттере. На носу куттера — герб. Серебряная чаша весов на синем. Рена знала этот куттер. Знала этот парус. Таможенный куттер дома Вандерграф, который брал с неё пошлину в начале лета у мыса Последней Надежды: четыре марки вместо двух, и одну «за скорость».

Она встала посреди пристани и смотрела на него.

Тур, катавший мимо бочку, остановился рядом. Посмотрел туда же. Потом на неё.

— Знаю, — сказала Рена. — Вижу.

У трапа куттера стоял мальчик в синей курточке с серебряной пуговицей. Посыльный. Он увидел Рену — и пошёл к ней по пристани. Не спеша. Как ходят люди, которые знают, что их ждут.

— Капитану Рене Тарвес, — сказал мальчик и протянул сложенный лист. — Шхуна «Верная».

«Верная». Не «Неверная». Знали и это.

Рена развернула лист. Почерк был ровный, круглый, писарский, с завитками. Чернила — тёмно-синие.

«Капитан. Дом умеет ждать. Но иногда дом умеет и догонять. Прошу вас ко мне на борт — сегодня, когда вам удобно. У меня есть то, что принадлежит вам. Не карта. Книга. Ланге».

Она дважды перечитала последние три слова.

— Что значит «книга»? — спросила она у мальчика.

Мальчик пожал плечами. Он был посыльный. Ему не говорили.

* * *

Каюта Ланге на куттере была маленькая и очень чистая. Медный фонарь под потолком. Стол, привинченный к полу. Две банки. Полка с книгами, затянутая сеткой от качки. Пахло лавандой и чернилами — так же, как в его конторе на Таможенной улице в Ордисе. Как будто Ланге возил свой запах с собой, как возят сундук.

Сам он сидел за столом — розовый, гладко выбритый, полноватый, в тёмно-синем сюртуке, с двойным подбородком, лежащим на шейном платке. Серебряный перстень на мизинце. Он встал, когда Рена вошла, и поклонился — чуть, вежливо, как кланяются люди, которые умеют кланяться так, чтобы это ничего не стоило.

— Капитан. Благодарю, что пришли. Вина?

— Нет.

— Южного. С ушедших островов. Как вы любите.

— Нет, Ланге.

Он кивнул, как будто так и думал, и сел. Рена не села. Встала у двери, спиной к косяку. Тур остался снаружи, на палубе куттера, — огромный, молчаливый, у самого трапа, — и вельсарские матросы обходили его, как обходят мачту.

— Поздравляю с Ордисом, — сказала Рена.

— Благодарю. — Ланге сложил руки на столе. — Город сдался без единого выстрела. Дом получил то, что хотел. — Он помолчал. — Почти. Мы хотели ещё одну вещь. Вы знаете какую. Она ушла с вами.

— Она ушла со своим хозяином.

— С хозяином, — согласился Ланге. — Да. Я понял это на мысу, когда фонарь не погас. Капитан, я не буду вас уговаривать. Я уговаривал в Ордисе — вы отказались. Я предложил даром — вы отказались. Вы сказали тогда: «Сверните, а то я её у вас отберу». — Он улыбнулся. Улыбка была розовая и мягкая, как всё в нём. — Я свернул. Я не дурак, капитан. Я знаю, когда человек говорит правду.

— Тогда зачем позвал?

Ланге не ответил. Он протянул руку к полке, отцепил сетку и снял книгу.

Толстую. В кожаном переплёте, тёмном, потёртом, с медными уголками, позеленевшими от сырости. Корешок был растрескан. По краям страниц — бурые пятна. Морская вода. Старая.

Он положил книгу на стол и развернул её к Рене.

— «Вахтенный журнал брига «Добрая Хильда», — прочитал он вслух, не глядя, — порт приписки Кормовая Скала, капитан Йост Оссендорп». — Он помолчал. — Сорок лет назад, капитан. Почти день в день. Конец лета.

Рена смотрела на книгу.

— Я не знаю никакого Оссендорпа.

— Нет, — сказал Ланге. — Вы не знаете. Но ваша мать — знала.

* * *

Она не помнила, как села.

Она сидела на банке у стола, и журнал лежал перед ней, открытый, и пальцы её лежали на странице, на бурых пятнах, на выцветших чернилах, на почерке — крупном, неровном, мужском, — и она читала, и строчки прыгали.

«…двадцать шестого дня, после полудня, вода стала. Течение Дороги, которое ходит здесь всегда на норд, замедлилось и встало. Лоцман Тарвес первой сказала. Я не поверил. Плюнул за борт — плевок лёг и не поплыл…»

«…к закату ветер кончился. Звук падает у ног. Туман из воды. Звёзды не на местах…»

Дальше — пусто. Полстраницы пусто. Потом — другим пером, другими чернилами, рукой, которая дрожала:

«…я не знаю, что было ночью. Я спал. Все спали. Проснулись на рассвете в живой воде, на буксире за шлюпкой. В шлюпке была лоцман Тарвес, одна. Она гребла всю ночь. Вывела «Хильду» по какой-то полосе, которую видела только она. Говорит — последнее течение. Говорит — Дорога. Позади нас вода стоит стеклом до горизонта и по сей день стоит. Тарвес не говорит, что видела. Плачет и молчит. Девятнадцать лет девке. Я её на «Хильду» брал за полцены, потому что молодая. Я ей обязан жизнью. Всё. Больше в море не пойду. Йост Оссендорп, капитан, своей рукой».

Рена сидела и смотрела на эту строчку. «Девятнадцать лет девке».

Мать никогда не рассказывала.

Ни разу. За шестнадцать лет. Мать рассказывала про Сель, про бабушку, про то, как один бог ушёл в море и стал морем. Про лоцманов, которые читают воду. Про то, что море всегда говорит, и нужно только не перебивать. Она рассказывала, как ходила на «Ласточке», на «Кулике», на «Счастливой Анне». Она никогда не говорила про «Добрую Хильду».

Она никогда не говорила, откуда у неё лоскут.

«Кусок карты бога». Рена думала — сказка. Мать любила сказки. На Сели все любили сказки, долгими зимними вечерами, когда сети чинят, а рыбы нет.

Она положила ладонь на грудь. На мешочек из тюленьей кожи. Лоскут под ним был холодный.

— Откуда это у тебя? — спросила она. Голос вышел хриплым, и она откашлялась. — Журнал.

— Дом купил его у вдовы Оссендорпа тридцать пять лет назад, — сказал Ланге. — Мастер Адальберт, тогда ещё подмастерье, собирал всё, что писали о Штиле. Все журналы, все рассказы, все лоции. Их было мало. Из кораблей, что были в тот день на Дороге, вышел один — «Хильда». Из её людей двое потом сошли с ума, боцман спился. Капитан Оссендорп больше ни разу не вышел в море и до самой смерти не говорил о той ночи ни с кем, кроме этой книги. — Ланге помолчал. — А лоцман, которая его вывела, вышла замуж на Сели и водила корабли ещё двадцать лет. Дом пытался с ней поговорить. Трижды. Она каждый раз отвечала одно и то же: «Не помню. Спала, как все».

— Она врала.

— Она врала, — согласился Ланге. — Мы знали. Мастер Адальберт всю жизнь искал одно: кусок полотна, серо-голубой, размером с ладонь, на котором движутся линии. Ни одна из его одиннадцати карт не похожа на него. Его карты — это карты, капитан. Нарисованные людьми. Странные — да. Но нарисованные. А то, что носила ваша мать… — Он посмотрел на её ладонь на груди. — Это не карта. Это кусок того, с чего карты рисуют.

Рена убрала руку.

— Дом ждал сорок лет, — сказал Ланге тихо. — Вы спрашивали меня в Ордисе, почему мы такие терпеливые. Вот почему.

* * *

Она долго молчала.

Ланге не торопил. Он налил себе вина — южного, тёмного, с ушедших островов, — и пил маленькими глотками, глядя в иллюминатор на ивы. За бортом кричали чайки. На пристани, у чёрного столба, старуха из Ордиса крутила прялку.

— Чего ты хочешь? — спросила наконец Рена.

— Того же, что и раньше, — сказал Ланге. — Дорогу. — Он поставил бокал. — Капитан, послушайте. Одиннадцать карт мастера Адальберта два дня назад ожили снова. Все одиннадцать. Тёмная точка, которая пропала под Ордисом, — та, что «с вороньим отливом», — вернулась. Она в море. Здесь. В Ветлах. А линии на всех картах — все, сколько их есть, — ползут. В одно место. — Он не стал говорить куда. Он смотрел на неё. — И на вашем лоскуте — тоже. Я прав?

— Мой лоскут, Ланге, показывает, где в Ветлах самое дешёвое пиво, — сказала Рена и засмеялась — громко, на всю каюту, как смеялась на пристанях, когда врала таможне. — Пока ни разу не ошибся.

Ланге вежливо подождал, пока она отсмеётся.

— Я прав, — сказал он. — Мастер Адальберт всю жизнь ждал, когда что-нибудь двинется в середине Штиля. Оно двинулось. — Он сложил руки. — Я не прошу у вас кость. Я её не получу. Я понял. Я прошу другого. Возьмите нас с собой.

— Что?

— Два корабля дома. Хороших. С водой, с хлебом, с людьми, с вёслами. Они пойдут за «Верной» на расстоянии, которое вы скажете. Куда вы скажете. Когда вы скажете. Вы ведёте — мы идём следом. Никаких условий. Хлеб — ваш, вода — ваша, сколько унесёте. Когда дойдём — вы увидите, что там. Мы увидим, что там. Вот и всё.

— Вот и всё, — повторила Рена.

— Дом торгует дорогами, капитан. Вы знаете. Мы не хотим стать богом. Мы хотим знать, где к нему дорога. — Ланге улыбнулся. — И продать её. Тому, кто больше заплатит. Империям, храмам, белым — кому угодно. Это честная торговля.

— А если там ничего нет?

— Тогда мы потеряем два корабля и время. Дом может себе это позволить.

— А если там есть что-то, что не хочет, чтобы к нему была дорога?

Ланге помолчал. Перестал улыбаться.

— Тогда, — сказал он, — мы будем знать и это.

Рена встала.

Она закрыла журнал — бережно, как закрывают глаза мёртвому, — и положила ладонь на кожаный переплёт.

— Это я забираю, — сказала она.

— Это ваше, — сказал Ланге. — Я же написал. Дом не продаёт то, что принадлежит другим. Дом продаёт только дороги.

— А корабли твои не нужны.

— Подумайте до завтра.

— Я подумала. — Рена взяла журнал под мышку. — Ланге. Ты знал мою мать?

— Я видел её один раз, — сказал Ланге. — Мне было пятнадцать. Я был мальчиком у мастера Адальберта. Он взял меня с собой на Сель — к ней. Она сидела на пристани с сетями. Сказала: «Не помню. Спала, как все». И посмотрела на мастера так, что он ушёл, не допив пиво. — Ланге помолчал. — Красивая была. Жёсткая. Вы на неё похожи.

Рена вышла.

* * *

Вечером она собрала всех на баке.

Не всех — тех, кто остался. Десять человек. Тур у фок-мачты, огромный, с жёлтыми пальцами. Квинт на кнехте — один сапог свой, другой чужой. Бабка Сорель на перевёрнутом ведре, в трёх платках, с вязаньем. Близнецы Марно — на рее, свесив ноги. Феликс у борта, с трубкой. Пеппи — сбоку, у бухты каната, худой, вытянувшийся за лето на полголовы. Ярина — у грот-мачты, с колодезной книгой под мышкой, как всегда. Кассиан — в гамаке под бушпритом, бледный, с замотанными руками и серой ниткой на запястье, слушал, свесив ноги.

И белый — в канатном ящике, под ними, за досками. Рена знала, что он слышит. Пусть слышит.

Она положила на бочку журнал Оссендорпа.

— Это — про мою мать, — сказала она. — Сорок лет назад. Она была лоцманом на бриге, который попал в Штиль. В тот день, когда Штиль появился. Когда море встало. Весь бриг уснул, кроме неё. Она вывела его. Одна. На шлюпке. По последнему течению. — Рена помолчала. — Она мне никогда этого не рассказывала.

Тишина.

— А лоскут у неё оттуда, — сказала Рена. — Я теперь знаю.

Она вытащила лоскут из-за пазухи. Развернула на ладони. Он светился — едва-едва, как гнилушка. Линии ползли к середине. Все. К тому пустому, гладкому месту на юго-западе, где ткань была самая плотная.

Материнский узелок из золы оставался у нижнего края. А точка, которую Рена принимала за саму Сель, была далеко от него.

Рена смотрела на это с утра и не говорила никому. Точка сдвинулась. За ночь. Она больше не стояла на западе за Кошачьим проходом, как в Ордисе. Она ползла. Вместе со всеми лини-

ями. К середине. И сейчас была почти у самой пустоты. У самого края гладкого места. Как будто Сель тоже тянуло туда.

Как будто Сель была там.

— Мы идём в середину Штиля, — сказала Рена.

* * *

Квинт встал первым.

— Нет, — сказал он.

Все посмотрели на него. Квинт стоял, длинный, унылый, в разных сапогах, и смотрел на Рену. Лицо у него было серое.

— Я ходил по краю, — сказал он. — Пятнадцать лет назад. На «Чайке». Три дня без ветра. Корабли, которых нет. Люди на них, которых нет. Капитан «Чайки» потом пил полгода. Я тоже. — Он сглотнул. — Это был край, Рена. Край. А ты говоришь — середина. Из середины никто не выходил.

— Моя мать вышла.

— Твоя мать вышла с края. В первый день. Пока вода ещё помнила, куда течь. — Квинт мотнул головой. — Ты читала. Там написано: позади стоит стеклом до горизонта. Сорок лет стоит. В середину не входили. Никто. Там нет течения, Рена. Там нет ветра. Там нет ничего. Мы будем грести, пока не кончится вода, и потом будем стоять, как те корабли, и смотреть вниз. — Он замолчал. Потом сказал тише: — Я вижу плохое. Я с утра вижу. Не через три часа — сейчас. Оно там. В середине. Оно ждёт.

Никто не ответил.

Потом Феликс выбил трубку о борт.

— Квинт прав, — сказал он. — Плохое там. Я тоже чую. Но не там главное. — Он мотнул головой вниз, на доски палубы, под которыми был канатный ящик. — Главное — здесь. У нас на борту. Пока белый здесь — на нас смотрят. Сверху. Я тебе говорил, Рена. Ты не верила. — Он посмотрел на Кассиана. — Паромщик. Ночью, когда ты не дышал. Бусина у белого под головой стала горячая. Он сам мне сказал утром. Не я спросил — он сам. Пришёл к двери ящика, сел на порог и сказал. — Феликс помолчал. — Он не врёт. Я бы почуял.

Рена посмотрела на доски палубы.

— Белого — на берег, — сказал Феликс. — Здесь. В Ветлах. А потом — куда хочешь. Хоть в середину. Хоть на дно.

Кассиан в гамаке молчал. Ярина у мачты молчала. Сорель вязала, не поднимая головы, и спицы стучали.

— Бабка? — сказала Рена.

Сорель отложила вязанье.

— Мне там никого не осталось, — сказала она. — Янек ушёл. Паромщик проводил. Я ему апельсин обещала. Самый большой. — Она помолчала. — Мне всё равно, куда. Хоть в середину. Хоть к твоему Оссендорпу. Я старая. Мне только вот что. — Она посмотрела на Кассиана. — Его сердце. Этой ночью семьдесят три. Я считала. В Ордисе было пятьдесят пять. На Штиле — минута. Каждый раз дольше, Рена. Ты ведёшь его туда, где мёртвые. Он к ним тянется. Он их провожает. И каждый раз — дольше. Однажды Тур не успеет.

— Я знаю, бабка.

— Ничего ты не знаешь. — Сорель взяла спицы. — Но иди. Раз надо.

Марно на рее переглянулись. Один толкнул другого локтем. Сказали что-то на своём языке — на том, который у них с пяти лет, который никто не понимал. Потом один сказал:

— Тот, кто стоит у двери, идёт к двери.

— Мы идём с ним, — сказал другой.

Пеппи смотрел на Кассиана. Пеппи было шестнадцать — за лето исполнилось, — и он вырос, и голос у него сломался, и он больше не был юнгой, который боялся всего. Он видел деда на Штиле. Дед ему кивнул.

— Я как все, — сказал Пеппи.

Тур не сказал ничего. Тур почти никогда ничего не говорил. Он смотрел на лоскут в Рениной ладони — на точку Сели, которая ползла к середине, — и лицо у него было такое, какое было в шторм, когда на западе мигал жёлтый фонарь. Он подошёл к Рене. Положил свою огромную жёлтую ладонь на лоскут. Поверх точки. Накрыл. Как накрывают птенца.

Потом посмотрел на юго-запад.

И кивнул.

* * *

Кассиан заговорил, когда все уже начали расходиться.

— Рена.

Она обернулась. Он сидел в гамаке, держась за верёвки замотанными руками, и смотрел на неё. Лицо у него было серое, с синевой, как в первый день на Соляных пристанях.

— Тебе надо знать, — сказал он. — Прежде, чем ты решишь.

— Я решила.

— Всё равно. — Он помолчал. — Он со мной говорил. Ночью. Тот, за рекой. Я Ярине и Туру рассказал.

Рена подошла. Встала у гамака. Ярина у мачты не шевельнулась, но Рена видела, как она прижала к себе книгу.

— Он сказал, — сказал Кассиан, — что считает всех, кто стоит у воды. Что я им должен. Ей — больше всех. И что он может заплатить. Мера за меру. Вернуть её. Целую. Тёплую. — Он сглотнул. — Он сказал: иди туда, где вода не движется. Там она стоит. Там я жду.

Рена молчала.

— Он не сказал цену, — добавила Ярина от мачты. Тихо, ровно. — Рена. Он не сказал цену.

Рена стояла у гамака и смотрела на мальчика. Худого, серого, с вихром, который не брала никакая вода. Мальчика, который у арки не протянул руку. Который искал её мать — и увидел фонарь. Жёлтый фонарь на воде, который махал кому-то мимо него. Вверх.

Вернуть. Целую. Тёплую.

Она подумала — и ей стало стыдно ещё до того, как мысль кончилась, — она подумала: а остров? Остров он может вернуть? С пристанью. С домом. С фонарём на конце пристани. С матерью, которая сорок лет назад вывела бриг из мёртвого моря и никому не сказала.

Если он может вернуть девочку — может вернуть и остров.

Точка Сели ползла к середине. Как будто Сель была там.

— Слышишь, паромщик, — сказала Рена. Голос у неё вышел ровный. Почти. — Твой голос сказал: «Иди». Не сказал «отдай». Значит, пока мы с ним хотим одного и того же.

— А потом? — спросила Ярина.

— Потом — посмотрим.

Ярина у мачты долго смотрела на неё. Потом отвернулась.

* * *

Ночью Рена не спала.

Она сидела на корме, у штурвала, рядом с Туром, и смотрела на Ветлы. Огни на берегу — немного, жёлтые, рыжие, от костров у сараев. Огни на куттере Ланге — белые, ровные. За таможней — одно окно, светлее остальных. Солнечный дом. Брат Ансельм и трое.

Журнал Оссендорпа лежал у неё на коленях. Она открыла его на той странице. «Девятнадцать лет девке. Я ей обязан жизнью».

Мать вывела бриг из Штиля. Одна. По последнему течению. А потом ещё двадцать лет водила корабли и говорила: «Не помню. Спала, как все».

Чего она боялась?

Рена закрыла журнал. Посмотрела на лоскут — она держала его в ладони всю ночь, как держат руку. Точка Сели стояла у самой пустоты. Не дрожала. Ждала.

— Тур, — сказала она.

Тур посмотрел на неё.

— Она знала, — сказала Рена. — Мать. Она была там. Она видела, что там. И никогда мне не сказала. И отдала мне лоскут. И сказала: «Чтобы ты нашла дорогу домой». — Рена помолчала. — Как ты думаешь, Тур. Она знала, куда он приведёт?

Тур долго молчал. Потом поднял руку — медленно, огромную, жёлтую до второй фаланги, — и показал. Не на юго-запад. Не на середину.

На фонарь.

Жёлтый, полосатый, как кошка. Тот, который он покрасил пальцем остатками краски от буквы. Не мамин. Совсем не мамин. Но горел.

Рена смотрела на него долго.

Потом встала, сняла фонарь с крюка, подняла над головой и качнула. Раз. Другой. Как машут с конца пристани.

Над тёмной водой у Ветлов никто не ответил. Только на куттере Ланге, у дальнего конца пристани, на корме, кто-то стоял — Рена видела силуэт против белого фонаря — и смотрел на неё.

Она повесила фонарь обратно.

— В середину, — сказала она. — Послезавтра. Когда Лаас даст воду.

Тур кивнул.

Глава пятая
Мёртвый лоцман

Ярина Соль. Ветлы. Семьдесят первый день после вспышки.

Ярина Соль двадцать шесть лет прожила в городе, где всё было записано.

Каждая бочка, которую привозили в порт. Каждый долг бондаря. Каждая свадьба, похороны, ссора соседей из-за забора. Ордис писал о себе с тех пор, как стал Ордисом, — в описях, в хрониках, в колодезной книге, в протоколах Палаты Весов, в судебных свитках, в купчих, — и Ярина двенадцать лет сидела в подвале архива и переписывала то, что он о себе написал. Она знала: если хочешь что-то найти — ищи в бумаге. Бумага помнит то, что люди забыли.

В Ветлах бумаги не было.

Она поняла это к вечеру первого дня, когда обошла весь посёлок — два раза, по кругу, мимо сараев, складов, таможни, кабака, домов на сваях. Здесь не было архива. Не было храмовой библиотеки. Не было даже писаря при таможне — таможенник, толстый, с выбитым зубом, писал в книгу сам и с ошибками, Ярина видела. Ветлы не писали о себе. Ветлы рассказывали.

Значит, надо было слушать.

Она сидела на краю пристани, у чёрного столба, рядом со старухой из Ордиса, которая пряла, и раскрыла колодезную книгу на коленях. Не читать — она знала её почти наизусть. Просто чтобы руки были заняты. Просто чтобы что-то, что помнит, было рядом.

«…на двадцатой сажени камень кончился, и открылось пустое, и в пустом — арка, чёрная, тёплая, со знаками, как следы птиц. Спустились трое. Вернулась одна, Эмма-вдова, седая, и сказала: стоят и ждут, кто отворит».

Стоят и ждут.

Она перевернула страницу. На обороте последнего листа, там, где Ордвин Колодезник четыреста лет назад оставил пустое место, Ярина сама, неделю назад, в подземелье, при свече, своей рукой переписала то, что смогла прочитать на арке. Не всё. Имена были стёсаны. Поверх стёсанного — знаки Девяти, восьмилучевое солнце, резец острее и моложе. Но под знаком Морвена одно имя уцелело, и строчка вокруг него — тоже, наполовину:

«…и Ваарguту, что стоит за водой, — первый хлеб и первая песня…»

Она смотрела на эти слова уже неделю.

Что стоит за водой.

В Ордисе она думала: за рекой. За той рекой в тумане, которую видел Кассиан, через которую перешли мёртвые Ордиса. Тот, кто стоит на том берегу. Огромное, как гора под снегом, — Кассиан говорил.

А теперь — после ночи, когда сердце Кассиана стояло семьдесят три счёта, а голос из-за реки сказал «иди туда, где вода не движется, там я жду», — Ярина смотрела на те же слова и читала их иначе.

За водой. Не за рекой. За водой — как за дверью. Как за стеной. Как стоят за занавесом в театре, который приезжал в Ордис, когда ей было девять: стоят и ждут своего выхода.

Вода, которая не движется, — это не место, где он ждёт.

Это дверь, за которой он стоит.

Ярина закрыла книгу.

Старуха рядом пряла, не поднимая головы. Колесо шло ровно.

— Бабушка, — сказала Ярина. — Вы ведь не из Ордиса. Говорите не по-нашему. Вы откуда?

Старуха не ответила. Колесо шло.

— Ладно, — сказала Ярина. — Не моё дело.

— С Вельды, — сказала старуха. Не поднимая головы. — С верховьев. Двадцать лет как. Сын в Ордис увёз. Сын в Ордисе остался. В земле. — Она вытянула нитку. — А тебе кого надо, архивная?

Ярина вздрогнула.

— Откуда вы знаете, что я архивная?

— У тебя пальцы чёрные, — сказала старуха. — Чернила. Двадцать лет не отмоешь. — Колесо шло. — Кого ищешь?

Ярина подумала.

— Того, кто помнит про Штиль, — сказала она. — Не про край. Про середину.

Старуха долго молчала. Потом мотнула головой в сторону таможни.

— Брам, — сказала она. — Слепой. Сидит у таможни на лавке. Каждый день. Его все знают. Он лоцманом был, пока глаза не ушли. — Она вытянула нитку. — Только он не говорит с теми, кто не платит.

— Чем платить?

— Ему всё равно чем, — сказала старуха. — Он слепой. Ему важно, чтоб было.

* * *

Брам сидел на лавке у таможни, там, где сказала старуха, — на солнце, спиной к нагретой стене, в рваном лоцманском бушлате, с палкой между колен. Старый. Очень старый. С белой бородой до пояса, жёлтой от табака у рта. Глаза у него были открыты и смотрели в никуда — белёсые, как у варёной рыбы.

Ярина села рядом. Положила ему на колено — в ладонь — то, что у неё было. Медный ключ. Пула. От подвала, которого больше нет.

Не насовсем. Она держала тесёмку.

Брам ощупал ключ пальцами — медленно, долго, по зубцам, по головке, по стёртой надписи. Потом засмеялся. Беззвучно, одной грудью.

— Ключ, — сказал он. — Девка приносит слепому ключ. От чего?

— От архива. В Ордисе. Сгорел.

— Сгорел, — повторил Брам. — А ключ остался. — Он отпустил ключ. — Это хорошая плата, девка. Честная. Ключ от того, чего нет. Мне такое по сердцу. Спрашивай.

— Середина Штиля, — сказала Ярина. — Что вы о ней знаете?

Брам долго молчал. Солнце грело стену. Где-то у складов кричали грузчики. С куттера на дальнем конце пристани кто-то свистел.

— Ничего, — сказал Брам. — Ничего не знаю. И никто не знает. — Он пожевал губами. — Я сорок два года водил корабли от Ветлов до Кормовой Скалы и обратно. Штиль всегда обходили. Вот так. — Он провёл палкой дугу по пыли. — Две недели лишних — зато живые. Кто не обходил — того нет.

— Совсем никто?

— Совсем. — Брам кивнул. — Кроме одной. Тарвесова баба, с Сели. Но она не в середине была, она в самый первый день, когда оно только встало. С края ушла. Повезло.

Ярина замерла.

— Вы её знали?

— Слыхал. Все слыхали. Лоцманы про своих всё знают. — Брам пожевал. — Она потом говорила — не помню, спала. Врала. Лоцман не спит, когда вода встаёт. Лоцман не может спать. — Он помолчал. — Но в середину — нет. Никто. Туда дороги нет.

— А есть… — Ярина подбирала слова. — Есть что-нибудь, что говорят? Старое. Присказка. Поверье. Не знание — то, что люди повторяют, не зная откуда.

Брам повернул к ней лицо. Белые глаза смотрели мимо её уха.

— Есть, — сказал он. — Есть одна. Старики говорили, когда я мальчишкой был. Ещё до Штиля. Не про Штиль даже — про любое мёртвое море. Про любую воду, где течения нет. — Он помолчал, вспоминая. — «Где вода стоит, туда живых не пускают. Туда мёртвого лоцмана берут. Живой там дороги не видит — вода не говорит. А мёртвый — помнит, куда все идут».

Ярина сидела неподвижно.

— Мёртвого лоцмана, — повторила она.

— Это присказка, девка. — Брам засмеялся. — Старики много чего говорили. Говорили, что бог моря — это бог моря, а не вода. Говорили, что если утопленник тебе приснится — к ветру. Говорили, что рыжих на борт брать нельзя. — Он похлопал её по колену. — Ты рыжая?

— Нет.

— Ну и хорошо. Иди. Ключ свой забирай. Мне хватит, что подержал.

Ярина встала.

— Дедушка, — сказала она. — А мёртвый лоцман — это кто? Утопленник?

Брам долго молчал.

— Не знаю, — сказал он наконец. — Старики не говорили. Я всегда думал — тот, кто уже на той стороне побывал. Утонул и откачали. Или помер, а потом встал. Таких мало. Но бывают. — Он поднял палку и ткнул в сторону пристани, туда, где стояла «Верная». — Вон у вас, говорят, такой есть. Худой. В рясе. У которого сердце стоит.

Ярина посмотрела на «Верную».

На бушприте, под деревянной женщиной, в гамаке у самой воды, лежал Кассиан. Она видела его отсюда — маленькую серую фигуру. Он не спал. Он лежал и смотрел на юго-запад.

— Откуда вы знаете? — спросила она.

— Весь берег знает. — Брам пожал плечами. — Беженцы ваши разнесли. Мол, мальчик, у которого сердце стоит по минуте, и мёртвые его видят. — Он помолчал. — Если старики правы, девка, — то вот он, ваш мёртвый лоцман. Только я бы на его месте не радовался. Мёртвый лоцман — он ведь не за живыми ходит. Он туда ходит, где мёртвые. И когда-нибудь — не возвращается.

* * *

Она вернулась на «Верную» к вечеру.

Шла медленно, вдоль пристани, мимо лодок, мимо старухи с прялкой, мимо куттера Ланге с ржавым парусом. Думала.

Где вода стоит, туда мёртвого лоцмана берут.

Мёртвый — помнит, куда все идут.

Она думала о Кассиане. О том, как он стоял у арки под Ордисом, и его сердце не билось больше двадцати счетов, а она держала его руку и считала. О том, как он сказал ей потом, ночью, в подвале у бондарей: «Я каждый раз немножко остаюсь там. Как будто дверь закрываю, а палец прищемило». О том, как бабка Сорель сказала: с каждым разом дольше.

Пятьдесят пять. Семьдесят три.

Мёртвый лоцман. Тот, кто ходит туда, где мёртвые. И когда-нибудь не возвращается.

И о голосе за рекой. Который сказал: «Иди туда, где вода не движется. Там я жду».

Он не сказал «приходи». Он сказал «иди». Как говорят лоцману: веди.

Ярина остановилась посреди пристани.

Она вдруг поняла — так, как понимала в подвале архива, когда в описи не сходилась цифра и она наконец находила, где ошибка, — что голосу за рекой не нужен Кассиан на том

берегу. Не нужен мёртвым. Ему нужен Кассиан живой — почти. Ровно настолько живой, чтобы дойти. И ровно настолько мёртвый, чтобы найти дорогу.

Ему нужен мёртвый лоцман.

И он его растит. Каждую ночь. Каждым торгом. Каждой остановкой сердца — пятьдесят пять, семьдесят три, сколько будет в следующий раз? Сто? Двести? Пока Кассиан не станет таким, каким нужно, — тем, кто помнит, куда все идут.

Она сжала колодезную книгу так, что заболели пальцы.

Ты знаешь, как называется, когда тебе предлагают то, что ты хочешь больше всего, и не говорят цену?

Она сама сказала ему это. Кабала.

Только она не сказала тогда главного. Того, что знала любая писарша в Ордисе, любой мальчишка-посыльный у ростовщиков на Таможенной. В кабале не платят один раз. В кабале платят собой. Понемногу. Каждый день. Пока не останется ничего, кроме долга.

* * *

Феликс сидел у трапа и курил.

Он поднял на неё глаза, когда она подошла, — маленькие, серые, выцветшие, — и ничего не сказал. Только мотнул головой в сторону носа. Вниз. Туда, где под палубой был канатный ящик.

— Он там? — спросила Ярина.

— Где ж ему быть. — Феликс выпустил дым. — Сидит. Узлы вяжет. Квинт научил шкотовому, так он теперь весь канат в узлы извёл. Квинт ругается.

— Феликс. Ты правда чуешь? Когда смотрят?

Феликс долго смотрел на неё.

— Правда, — сказал он. — Не всегда. Но чую. Сегодня с утра тихо было. Белый вчера утром сам мне сказал, что ночью бусина горячая была. Я вечером Рене передал. А сегодня утром я к нему заходил — бусина холодная. И не свербит. — Он почесал под лопаткой культёй в кожаном чехле. — А вчера, как Рена на баке стала говорить, куда пойдём, — засвербело. Сразу. Как вошь.

— Когда именно?

— Когда она сказала «в середину».

Ярина постояла.

— Спасибо, Феликс.

— Не за что. — Феликс выбил трубку. — Ты чего задумала, архивная?

— Проверку, — сказала Ярина.

* * *

Она спустилась к ящику в сумерках.

Дверь была приоткрыта — засов отодвинут, как всегда теперь. Изнутри пахло дёгтем, пенькой, табаком Феликса и мокрой шерстью. Ярина толкнула дверь и присела на порог.

Ильяс сидел на канате, прислонившись к переборке. Бледный. Небритый. Светлые волосы отросли и падали на лоб. На коленях у него лежал канат — весь в узлах. Шкотовых. Десятки узлов, один за другим, ровных, туго затянутых, как бусины на чётках.

Он поднял глаза.

— Соль, — сказал он.

— Сэр рыцарь.

Он не улыбнулся. Он никогда не улыбался в ответ на её «сэр рыцарь». Ей это нравилось. Он был, наверное, единственный человек, который не обижался на её насмешку и не смеялся над ней, — просто принимал, как принимают погоду.

— Ты пришла сказать, что меня ссадят, — сказал он.

— Нет. — Ярина положила колодезную книгу на колени. — Я пришла спросить. Ты сказал Феликсу, что бусина ночью была горячая.

— Да.

— Почему ты ему сказал?

Ильяс долго молчал. Он смотрел на узлы у себя на коленях.

— Потому что он сказал мне, что через меня смотрят, — сказал он. — А я не поверил. А потом… ночью… — Он поднял правую руку и посмотрел на ладонь. — Оно тянуло. Сюда. К мальчику. Когда у него сердце встало. Оно хотело, чтобы я встал и пошёл. И посмотрел. Оно говорило — помочь. Но оно не хотело помочь, Соль. Я знаю, как оно хочет помочь. Двадцать четыре года знаю. Это было другое. Оно хотело увидеть.

Ярина молчала.

— Я не знаю, что это значит, — сказал Ильяс тихо. — Я не знаю, кто — оно. Я всю жизнь думал, что знаю. Свет. Тот, кто спас меня в Брене, ребёнком, в круге. Тот, кого я люблю. — Он сжал ладонь. — А теперь я сижу в канатном ящике и боюсь выйти на палубу. Потому что не знаю, что выйдет вместе со мной.

Ярина смотрела на него.

Она вспомнила, как толковала ему сон — там, в Ордисе, в допросной, когда он пришёл её допрашивать, а она, сама не зная зачем, стала толковать. Круг света в мёртвой деревне. Мальчик в середине. Свет, который держит — и не пускает. Она тогда сказала: «Свет, который любит, светит на всех. А свет, который держит в круге, — светит на того, кто ему нужен». Он ушёл белый.

— Я тоже не знаю, кто — оно, — сказала Ярина. — Я знаю только, что видела во сне. С детства — зал и женщина с шаром. После вспышки — свет, который берёт то, что ему протягивают. Я не знаю, тот же это свет или другой. — Она помолчала. — Но я умею проверять. Двенадцать лет в архиве. Когда не знаешь, правда ли в описи, — сверяешь с другой описью. Если сходится — правда. Если нет — кто-то врёт.

— Как проверить?

Ярина наклонилась к нему.

— Слушай, — сказала она тихо. — Я хочу проверить, опасно ли тебе оставаться с нами. Если через тебя смотрят — это надо узнать до выхода в Штиль.

— Что мне делать?

— Ничего. Оставайся здесь. Я попрошу Рену пока тебя не ссаживать.

— И как ты проверишь?

Ярина не опустила глаз.

— Не скажу. Пока не закончим. Я не знаю, что сейчас слышно через тебя.

Ильяс смотрел на неё.

— Даже сейчас?

— Не знаю, — повторила она. — Если ничего не обнаружим, это ещё не значит, что всё хорошо. Но если подтвердится…

Она замолчала.

Ильяс долго молчал. Потом опустил глаза на узлы.

— Я согласен, — сказал он.

— Хорошо.

— Соль.

— Что?

— Если подтвердится, — сказал он, — меня надо будет ссадить. Сразу. Не потому, что Феликс хочет. Потому что иначе оно пойдёт за вами. Туда, куда вы идёте. Куда бы ни шли.

— Я знаю, — сказала Ярина.

— Ты знала, когда шла сюда.

— Я знала, когда шла сюда, — согласилась она.

* * *

Ветлы закрывала с моря Ивовая коса.

Ярина узнала это днём, у Брама, и потом у Квинта, который нарисовал ей на палубе мелом: длинная песчаная коса, заросшая ивами, — от устья реки на север, почти до самого острова Гусиного. Между косой и островом — Северный пролив. Глубокий, широкий, удобный, у самой таможни. Им выходят все. Им вошли и они.

А с юга, у самого устья, где река впадает в залив, — Южное гирло. Мелкое, узкое, в песчаных банках. Пройти можно только в большую воду, в прилив, ночью или под утро. Квинт сказал: «Можно. Если очень хочется. Рыбаки ходят. Шхуна — пройдёт, если Тур на руле. Если Тур не на руле — сядем, и до весны будем сидеть».

Рена согласилась на Южное гирло за минуту. Не спрашивая зачем. Ярина ей рассказала — коротко, вполголоса, на корме, у фонаря, далеко от канатного ящика. Рена слушала, не перебивая. Потом сказала: «Если ты права, архивная, — я хочу знать. Если не права — я тоже хочу знать». И ушла говорить с Туром.

Прилив — в ночь на семьдесят второй, в третью склянку после полуночи. Большая вода. Тур проведёт.

А ложь — Северный пролив. На рассвете семьдесят второго. На Кормовую Скалу. «За товаром».

Её нужно было сказать так, чтобы оно поверило.

* * *

Они сказали её в темноте, у канатного ящика.

Рена и Ярина. Вдвоём. Сели на палубу у двери, как садятся люди, которые ушли от остальных, чтобы поговорить без лишних ушей. Дверь в ящик была приоткрыта. Ильяс лежал внутри, на канате, лицом к переборке, и не шевелился. Как спящий.

Рядом с ящиком никого больше не было. Рена отправила Тура — проверять гирло на шлюпке, Квинта с ним, Марно на берег за водой, Сорель — спать, Пеппи — к Сорель. Кассиан спал в своём гамаке под бушпритом, в двадцати шагах. Он не знал. Ярина не сказала ему. Если оно слушает то, что вокруг мальчика с костью, — пусть мальчик с костью ничего не знает.

Ярина вдохнула.

— Когда выходим? — спросила она. Громко. Обычно. Не шёпотом — так говорят люди, которые думают, что их не слышат.

— На рассвете, — сказала Рена. — Послезавтра. Нет — завтра уже. Семьдесят второй. Северным проливом. Как вошли.

— А куда?

— На Кормовую Скалу. — Рена говорила устало, раздражённо, как говорит капитан, которому надоело объяснять. — За товаром. Мне нужны деньги, архивная. У меня десять ртов и пустой трюм. Середина Штиля подождёт. Она сорок лет ждала, подождёт ещё месяц.

— А мальчик?

— Мальчик пойдёт со мной. Куда я, туда и он. — Рена помолчала. — На Скале у меня друзья. Спрячем его там. Пока не решим.

— А белый?

— Белого — на берег. Здесь. Утром, перед выходом. Пусть идёт к своим, в Солнечный дом, за таможню.

Ярина смотрела на дверь ящика.

Она не видела Ильяса. Видела только темноту внутри, и край каната, и узлы. Но она смотрела туда, где должна была быть его правая рука, — и ждала.

Ничего. Ни света. Ни тепла. Ни звука.

Рена встала.

— Спать, — сказала она. — Выходим рано.

И ушла на корму, громко топая по палубе.

Ярина посидела ещё немного. Потом встала тоже. Заглянула в ящик — на миг, будто проверяя, спит ли пленник.

Ильяс лежал лицом к переборке. Не шевелился. Но левая его рука лежала поверх правой — крепко, сжато, как держат дверь, в которую ломятся. Пальцы побелели.

А из-под каната у него под головой, из щели между витками, сочился слабый, едва видный в темноте пар. Как от горячего камня, на который брызнули водой.

Бусина.

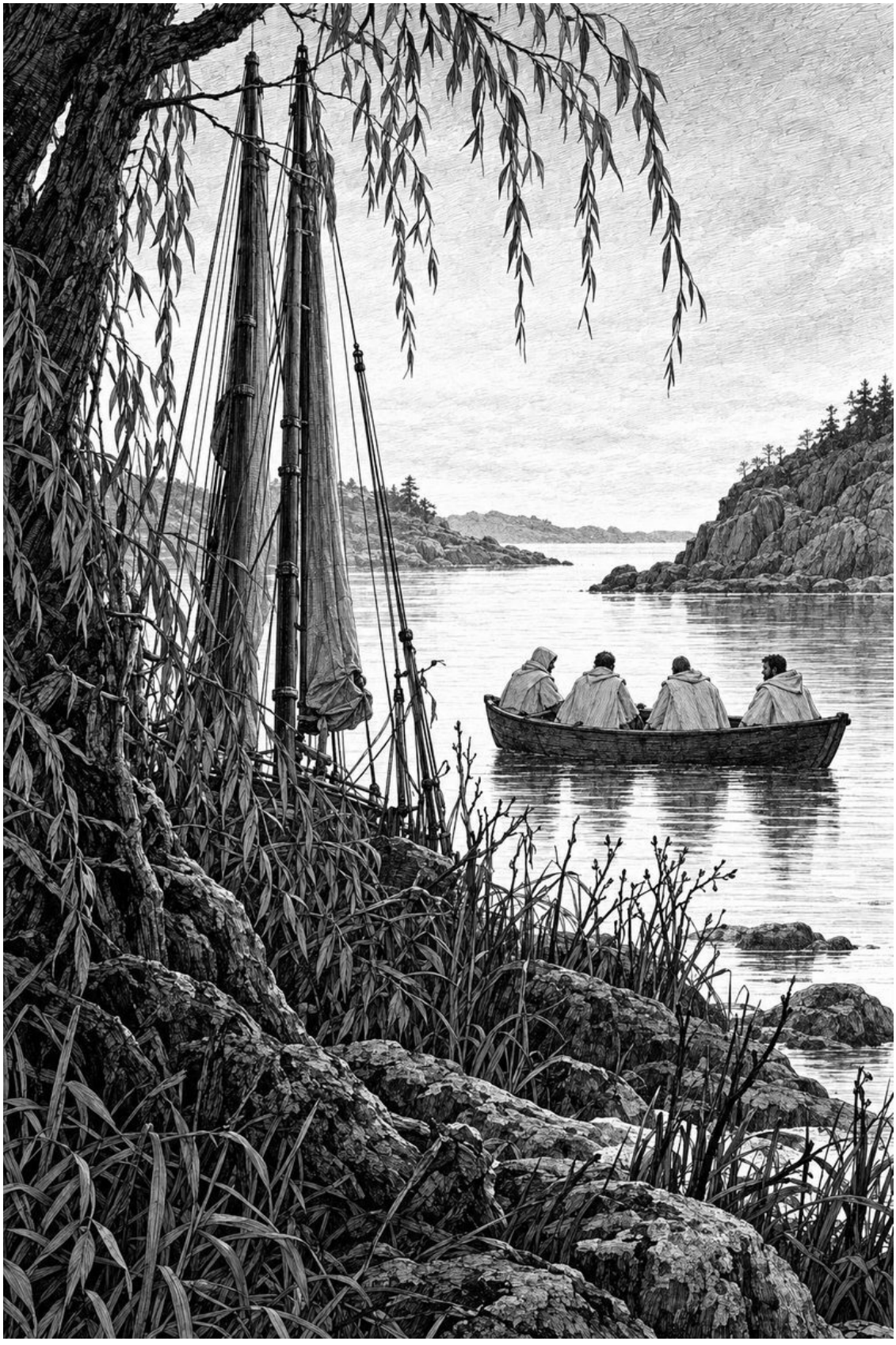
Ярина отступила от двери. Тихо. Медленно.

Она шла по тёмной палубе к корме, к жёлтому фонарю, и колодезная книга под мышкой была тяжёлой, как камень, и сердце у неё колотилось — живое, быстрое, тёплое, такое, какого у Кассиана не было уже давно.

Она не знала ещё, придут ли. До рассвета было далеко.

Но она уже знала, что услышали.

Глава шестая
Северный пролив



Кассиан. Южное гирло и Ивовая коса у Ветлов. Ночь на семьдесят второй день и рассвет.

Его разбудила Рена — не голосом, ладонью. Положила ему руку на плечо, через сетку гамака, и держала, пока он не открыл глаза.

— Тихо, — сказала она одними губами. — Уходим. Не говори ничего. Совсем ничего. Пока не скажу.

Он кивнул.

Была ночь. Глубокая, тёмная, без луны. Ветлы спали — ни огня на берегу, только у сараев тлели угли костров, красные, как глаза. Над водой стоял туман, низкий, по колено. Пахло ивой и тиной.

«Верная» двигалась.

Он не сразу это понял. Паруса не стояли — ни один. Мачты были голые, тёмные против тёмного неба. Но пристань уходила. Медленно, бесшумно, — чёрные столбы один за другим отступали назад, в туман. Кассиан перегнулся через борт гамака и увидел: у борта, в воде, — шлюпка. В ней — Тур и Квинт. Тур грёб. Медленно, широко, без всплеска, как гребут люди, которые всю жизнь ходили на вёслах мимо таможни. Буксирный конец от шлюпки к носу «Верной» был натянут, как струна. Шхуна шла за шлюпкой, как упрямая лошадь в поводу — нехотя, но шла.

Как «Хильда» за шлюпкой Рениной матери, подумал Кассиан. Он не знал, откуда эта мысль. Потом вспомнил: Рена рассказывала про журнал позавчера, на баке.

Никто не говорил. Марно стояли у бортов с отпорными крюками — отталкиваться от лодок, если подойдут слишком близко. Пеппи сидел на бушприте, над самой головой Кассиана, и смотрел вперёд, в туман. Сорель — у камбуза, в трёх платках, неподвижная, как пень. Ярина — на корме, рядом с Реной, у штурвала. Фонарь не горел.

Белого не было видно. Дверь канатного ящика — Кассиан видел её отсюда, на палубе, — была закрыта. Не на засов. Просто прикрыта. Изнутри не доносилось ни звука.

Они шли не к Северному проливу.

Он понял это, когда пристань кончилась и вдоль борта пошли ивы. Ивы стояли в воде — по колено, по пояс, — чёрные, кривые, с обрубленными головами, — и «Верная» шла между ними, так близко, что голые ветки скребли по борту, как пальцы. Устье. Река. Тур вёл шлюпку туда, где река впадала в залив, — в узкое место, между двумя песчаными банками, белевшими в тумане, как спины огромных рыб.

Южное гирло.

Кассиан слышал про него вчера — краем уха, от Квинта, когда тот рисовал Ярине мелом на палубе. «Можно. Если очень хочется. Если Тур не на руле — сядем, и до весны будем сидеть».

Тур был не на руле. Тур был в шлюпке. На руле стояла Рена.

Кассиан лежал в гамаке и молчал, как ему сказали. И слушал.

* * *

Вода в гирле была живая.

Он чувствовал её — не так, как чувствовал границу, и не так, как чувствовал реку в тумане. По-другому. Вода текла — река текла в залив, залив поднимался ей навстречу приливом, — и в узком месте между банками они встречались и спорили. Вода крутилась. Шептала.

Под килем «Верной» было — он почему-то знал — полторы сажени. Потом сажень. Потом меньше.

Киль коснулся песка.

Не ударил — коснулся. Тихо, мягко, как касается лба рука. «Верная» вздрогнула всем корпусом, от киля до клотика, и замедлилась. Шлюпка впереди дёрнулась на натянутом конце. Тур в шлюпке перестал грести.

Тишина.

Кассиан видел, как Рена на корме вцепилась в штурвал. Как Квинт в шлюпке привстал — длинный, нелепый, в разных сапогах, — и смотрел за борт, в воду, шевеля губами. Как Марно у бортов одновременно, не сговариваясь, положили крюки и взялись за фальшборт — обеими руками, как держатся за лошадь, которая вот-вот понесёт.

Шхуна стояла на песке. Её держало. Вода прибывала — Кассиан чувствовал, как она прибывает, медленно, по волосу, — но держало.

Тур в шлюпке медленно развернулся. Посмотрел на «Верную». На нос. На Кассиана в гамаке.

Потом поднял руку — огромную, жёлтую до второй фаланги — и показал. Вниз. На воду. Потом — на Кассиана. Потом сжал кулак и разжал.

Кассиан не понял.

Тур повторил. Вниз — на него — кулак — ладонь.

Ты. Воду. Отпусти.

Кассиан посмотрел вниз. Сквозь сетку гамака, сквозь туман, — на воду у самого носа «Верной». И увидел.

Она была серая. Не чёрная, как вокруг. Серая, тусклая, как бывает вода утром в начале зимы, когда на ней ещё нет льда, но уже есть корка. От носа шхуны — от гамака, от него — во все стороны, на три шага, на пять, вода стояла. Не текла. Не спорила. Не шептала. Тяжёлая, как масло. Та самая, которая в шторм держала нос «Неверной» от бродячего острова. Та, которая встала в Ветлах корой, когда его сердце не билось.

Он держал её. Сам. Не зная. Его холод держал шхуну на песке.

Кассиан закрыл глаза.

Он не знал, как отпускать воду. Тальберт учил его держать — держать умирающего, держать границу, держать порог, — а отпускать не учил. «Это потом, — говорил он. — Когда научишься держать так, чтобы не держать». Кассиан тогда не понял. Не понимал и сейчас.

Он попробовал разжать — как разжимают кулак. Ничего. Холод не был кулаком. Он был везде: в пальцах, в зубах, в медленном сердце. Он попробовал не думать о воде. Вода стояла. Он попробовал думать о тепле — о печке дома, о хлебе, о матери у стола. Вода стояла. Под килем скрипнул песок: прилив подходил и упирался в серое, как в стену.

Тур в шлюпке ждал. Рена на корме ждала. Кто-то из Марно шёпотом выругался на своём языке.

И тогда сердце пропустило удар.

Он не звал этого. Не хотел. Просто — пауза, как бывало теперь по ночам: сердце остановилось и не пошло. Раз. Два. Пять. Темнота под веками стала гуще, и внутри что-то испугалось — не он, глубже, — и дёрнулось, как дёргается во сне человек, который падает. Холод в нём сорвался с места, как сорвалась бы с крюка тяжёлая бадья.

Сердце ударило.

Под носом «Верной» вода вздохнула.

Серое пошло рябью. Мелкой, как дрожит кожа у лошади. Потом — волной. Прилив, который стоял в трёх шагах от борта и не мог подойти, подошёл. Разом. Шхуна качнулась — один раз, глубоко, — и киль ушёл с песка, как уходит нога из сапога.

А Кассиан лежал в гамаке и не чувствовал рук. Совсем. Ни пальцев в льняных полосках, ни свирели на груди, ни нитки. Нитки — не было.

Он рванулся к свирели, сжал её непослушными пальцами — и долго, страшно долго не чувствовал ничего. Потом — едва-едва, как сквозь толстую рукавицу, — тонкое, натянутое. Есть. Тоньше, чем было.

Он не знал, что сделал. Не знал, что ещё отпустил вместе с водой.

Тур в шлюпке налёг на вёсла.

«Верная» пошла.

* * *

За гирлом было открытое море и Ивовая коса.

Тур провёл шхуну вдоль косы с внешней стороны — так близко к берегу, что ивы склонялись над палубой, — на север, почти до Гусиного, и встал в мелкой бухточке за изгибом косы, где высокие ивы закрывали мачты и от залива, и от пролива. Бросил якорь. Тихо — Марно стравили цепь руками, звено за звеном, обмотав мешковиной. Шлюпку подтянули к борту.

До рассвета было часа два.

Рена спустилась с кормы на бак. Остановилась у гамака. Посмотрела на Кассиана.

— Ну, — сказала она вполголоса. — Паромщик. Это ты держал?

— Я не знал, — сказал он.

— Я знаю, что ты не знал. — Рена помолчала. — Ты отпустил.

— Не я. — Он посмотрел на свои руки. Пальцы всё ещё были чужие. — Оно само. Сердце встало, я испугался — и оно сорвалось. Я не умею, Рена. Я не знаю, как это сделать нарочно.

Рена смотрела на него долго.

— Ну, — сказала она наконец, — значит, в следующий раз будем пугать тебя заранее. Пеппи умеет. Он в прошлом году лоцмана из Ланге-гавани так напугал, что тот заикается до сих пор. — И коротко хмыкнула, хотя глаза у неё не смеялись.

— Вставай, — сказала она. — Пойдём на косу. Посмотрим, кто придёт.

— Кто придёт — куда?

Рена не ответила. Она посмотрела на корму — на Ярину. Ярина стояла у штурвала, прижав к себе колодезную книгу, и смотрела на Кассиана.

— Она тебе скажет, — сказала Рена. — Только не здесь. Здесь — ни слова. На косе.

* * *

Ярина сказала ему на косе.

Они лежали на песке на гребне, среди ив, — трое: Рена, Ярина, Кассиан. Песок был холодный и мокрый от росы. Ивы шелестели. Внизу, с внутренней стороны косы, лежал залив — тёмный, гладкий, в тумане, — и на той стороне, в полумиле, Ветлы. Таможня. Пристань. Северный пролив, между краем косы и островом Гусиным, — широкий, глубокий, тёмный. Отсюда он был виден весь, от залива до моря.

Ярина говорила шёпотом. Про Феликса. Про бусину. Про то, как белый сам сказал. Про проверку. Про то, что они с Реной сказали вчера вечером у двери ящика: на рассвете, Северным проливом, на Кормовую Скалу, белого — на берег, в Солнечный дом.

Кассиан слушал.

— Почему мне не сказали? — спросил он.

Ярина посмотрела на него.

— Потому что Феликс говорит: свербит и когда ты мимо идёшь, — сказала она. — Когда ты рядом с белым. Касс. Оно слушает не только про курс. Оно слушает тебя. Кость. — Она

помолчала. — Я не хотела, чтобы ты знал, что это ложь. Если ты знаешь — может быть, оно тоже узнает. Я не знаю, как оно слышит. Я ничего не знаю. Я перестраховалась.

— Оно ищет кость, — сказал Кассиан.

— Оно её нашло, — сказала Ярина тихо. — Касс. Если я права — оно знает, где ты. С Ордиса знает. Может, раньше. — Она смотрела на залив. — Оно не берёт. Ты заметил? Белые в Ордисе — у арки — Онорий тянулся к шнурку. А белый, Ильяс, сначала остановил руку. Потом всё-таки схватил шнурок. Но кость не взял. — Она помолчала. — Может, ему мало просто забрать. Надо, чтобы ты отдал.

— Я помню.

— Я тоже помню, — сказала Ярина. Помолчала. — Во сне у меня тоже свет, который ждёт, пока ему протянут. — Она поморщилась, как от зубной боли. — Не слушай. Я не знаю, тот же это свет или другой. Может, всякий свет так делает. Я архивистка, Касс, а не пророчица. Мне нужны бумаги, а не сны.

Рена лежала рядом и молчала. Смотрела на пролив.

Небо на востоке начало сереть.

* * *

Сначала ничего не было.

Туман над заливом. Серая вода. Пристань Ветлов — чёрные столбы, лодки, баркас с проломленным бортом. Куттер Ланге с ржавым парусом у дальнего конца. Таможня. За таможней — одно окно, светлее остальных.

Потом окно погасло.

Кассиан увидел это. Ярина — тоже: он почувствовал, как она замерла рядом. Окно за таможней, которое горело всю ночь, — Солнечный дом, брат Ансельм и трое, — погасло. Не потому, что задули свечу. Потому, что дверь открылась и свет из окна ушёл в дверь, — как уходит, когда в комнате больше никого нет.

По берегу, от таможни к пристани, шли люди.

Четверо. В белом. В утреннем полусвете белое было серым, но Кассиан знал, что оно белое. Они шли быстро, почти бежали. Один нёс фонарь — днём, на рассвете, когда уже почти видно. Фонарь горел ровно, жёлто, неправдоподобно ярко.

Они сели в лодку у края пристани. Не рыбацкую — свою, с маленькой мачтой. На парусе, когда его подняли, Кассиан увидел знак. Круг. Золотой. С лучами.

Лодка пошла к Северному проливу.

— Четверо, — прошептала Рена. — Ансельм и трое. Все.

Лодка шла через залив. Без ветра — ветра почти не было, утренний штиль, туман, — но шла. Быстро. Как будто её вели на верёвке. Белые сидели в ней неподвижно. Один, на носу, стоял, подняв правую руку. Ладонью вперёд. К проливу.

Кассиан смотрел на эту руку.

Он вспомнил площадь в Ордисе. Ильяса посреди площади, руки подняты, свет вокруг — ровный, тёплый, — и триста человек стоят и не бегут. Феликс рассказывал. Кассиан не видел — той ночью они ещё подходили к Ордису. Но сейчас — видел. Ту же руку. Тот же свет. Только меньше.

Над проливом туман засветился.

Не от солнца — солнце ещё не встало. Туман просто стал светлее. Тёплым. Жёлтым с белым. Ровным, как свет за матовым стеклом. Над всем проливом — от края косы до Гусиного. Как будто кто-то сверху поставил лампу и накрыл пролив абажуром.

Ярина рядом перестала дышать.

— Смотри, — прошептала она. — Касс. Смотри на тени.

Кассиан посмотрел.

На косе, где они лежали, тени были — длинные, серые, от ив, от них самих, — косые, на запад, от светлеющего востока. А там, в проливе, в светящемся тумане, где шла лодка белых, — теней не было. Ни у лодки. Ни у мачты. Ни у человека на носу с поднятой рукой. Свет был со всех сторон сразу. Ровный. Внимательный.

Он ждал.

Лодка белых дошла до середины пролива. Встала. Человек на носу опустил руку. Белые сидели неподвижно и смотрели в сторону пристани. На то место у пристани, где ещё вчера стояла «Верная». Где её теперь не было.

Они ждали, что «Верная» выйдет. На рассвете. Северным проливом. На Кормовую Скалу.

От пристани отвалил куттер с ржавым парусом.

Кассиан не ожидал этого. Ярина тоже — он слышал, как она тихо охнула. Куттер Ланге шёл к проливу. Медленно. Под одним косым парусом, в который почти не дул ветер. Встал у края пролива, у самой косы, под ивами, — в двухстах шагах от того места, где лежали они, — и тоже стал ждать.

Рена рядом тихо засмеялась. Одной грудью, беззвучно.

— Дом умеет ждать, — прошептала она. — Дом умеет догонять. Ну, жди, Ланге. Жди.

Солнце встало.

* * *

Свет над проливом погас, когда первый луч коснулся воды.

Не сразу — медленно, как гаснет лампа, когда в ней кончается масло. Туман стал серым, обычным. Тени вернулись — у лодки белых, у мачты, у человека на носу. Длинные, косые, на запад. Как у всех.

Белые сидели в лодке ещё долго. Потом один встал и посмотрел туда, где стояла «Верная». Потом — на Ветлы. Потом — на море.

Потом лодка развернулась и медленно пошла к пристани.

Куттер Ланге остался стоять у края пролива. На корме Кассиан видел силуэт — полный, неподвижный, с руками, сложенными на животе. Ланге смотрел на море. Он ждал до последнего.

— Всё, — сказала Ярина.

Она сказала это вслух. Негромко. Но вслух — впервые с ночи.

Рена перевернулась на спину и долго смотрела на небо. Небо было бледное, осеннее, с перистыми облаками. Ивы над ней шелестели.

— Всё, — повторила она.

* * *

Ильяс сидел на пороге канатного ящика, когда они вернулись.

Дверь была распахнута. Он сидел на пороге, ногами на палубе, как сидели у него Кассиан и Феликс, — в своём сером, бывшем белом, в бурых пятнах дёгтя, — и держал на коленях канат с узлами. Правая рука лежала на колене ладонью вниз. Левая — поверх.

Он поднял глаза, когда они поднялись на борт. Рена, Ярина, Кассиан.

Рена ничего не сказала. Ярина ничего не сказала. Они встали у грот-мачты. Остальные — Сорель, Феликс, Пеппи, Марно, Квинт, Тур — стояли на палубе, кто где, и смотрели.

Кассиан подошёл к ящику.

Сел рядом с Ильясом на палубу. Прямо на мокрые доски. Ноги не держали.

Ильяс посмотрел на их лица.

— Подтвердилось? — спросил он.

— Четверо, — сказал Кассиан. — Из Солнечного дома. На рассвете. В Северный пролив. Встали посередине и ждали.

Ильяс закрыл глаза.

— И свет, — сказал Кассиан. — Над проливом. Без солнца. Без теней. Пока солнце не встало.

Ильяс долго молчал. Сидел с закрытыми глазами, держа одну ладонь другой.

— Я боялся, — сказал он. — Ночью. Бусина. Я чувствовал, как оно слушает. — Он посмотрел на свою ладонь, накрытую другой. — Я всю ночь лежал на боку. На ране. Чтобы болело. Когда болит — оно не может подняться, оно… соскальзывает. И руку держал. Вот так. — Он показал. — Не знаю, помогло ли. Я просто… хотел, чтобы нас не нашли.

Кассиан смотрел на него.

Он вспомнил канатный ящик в ту ночь после Ордиса. Квинтов фонарь. Ильяса на канате. Как имя поднималось в нём, как пузырь со дна, — и что-то легло сверху. Тёплое. Ровное. Огромное. Как ладонь на свечу.

— Тебе не дают, — сказал Кассиан тихо. — Я тогда сказал. Помнишь? Имя. Тебе не дают вспомнить.

— Помню.

— Это не всё, — сказал Кассиан. — Тебе не дают. И через тебя смотрят.

Ильяс открыл глаза.

Он смотрел на Кассиана — светлыми, усталыми, очень молодыми глазами, — и Кассиан видел, как в них что-то ломается. Без звука. Как ломается лёд на реке весной: сначала трещина, тоньше нитки, а потом — всё сразу, и уже не остановить.

— Всю жизнь, — сказал Ильяс. — Всю жизнь я думал, что он смотрит на меня. Что он меня видит. Как отец смотрит на сына. — Он помолчал. — А он смотрел не на меня. Он смотрел мной. Как смотрят в окно.

Никто на палубе не сказал ни слова.

— Я не знаю, кто он, — сказал Ильяс. — Я больше не знаю.

* * *

Рена подошла к ящику последней.

Встала над ними — над Кассианом и Ильясом, сидящими на мокрой палубе, — сложив руки на груди. Короткие тёмные волосы стояли дыбом от соли и росы. Лицо серое от бессонницы.

— Маттиас бы заплатил, — сказала она. — За тебя. Больше, чем стоит мой корабль. Ты знаешь.

— Знаю.

— И Ланге бы заплатил. Он теперь за всё платит, что связано с паромщиком. Он бы и тебя купил. На всякий случай.

— Знаю.

Рена помолчала.

— Я один раз продавала человека, — сказала она. — Давно. Не белого. Но близко. Я тебе говорила.

— Говорила.

— Я до сих пор про это думаю. — Рена посмотрела на море. — Иди.

Ильяс поднял голову.

— Иди, — повторила Рена. — Без выкупа. Без условий. Мне не нужны деньги Маттиаса. И уши, которые смотрят, мне на борту не нужны. — Она кивнула на косу. — Вон коса. Дальше по ней, перед проливом, — рыбацкая деревня, Кулики. Тебе полдня пешком. Там лодки ходят на север, к Кордару. Иди.

Ильяс смотрел на неё.

— Почему? — спросил он.

Рена пожала плечами.

— Паромщик сказал — ты остановил руку, — сказала она. — Я не видела. Я была наверху, у фонаря. Но паромщик не врёт. — Она отвернулась. — И потом. Ты сам согласился. На проверку. Ты знал, что, если слежка подтвердится, — тебя ссадят. И всё равно согласился. — Рена помолчала. — Белые так не делают. Белые всегда хотят знать, но никогда не хотят, чтобы проверили.

* * *

Его собирали всей палубой.

Бабка Сорель принесла хлеб. Полкаравая, из десяти мешков Лаас, — завёрнутый в тряпицу, — и луковицу, и кусок сушёной рыбы, который она прятала «на чёрный день». Сунула ему в руки. Сказала: «Жри. Не сразу. По дороге».

Феликс снял с себя кожаную куртку — старую, вельсарскую, матросскую, с оторванным правым рукавом. Бросил Ильясу на колени.

— В белом тебя первый же пёс облает, — сказал он. — Надень. Рукав сам пришьёшь. Или не пришьёшь. — Он помолчал. — Бусину оставь себе.

— Она твоя.

— Она чтобы знать, куда смотрят, — сказал Феликс. — Тебе нужнее.

Квинт молча положил рядом канат с узлами. Весь. Ильяс посмотрел на него.

— Шкотовый, — сказал Квинт. — Ты научился. Плохо. Но научился. — Он почесал щёку. — На север иди. Там узлы другие. Но шкотовый везде шкотовый.

Пеппи стоял в стороне и молчал. Марно на рее переглянулись и сказали что-то на своём языке.

Тур не сказал ничего. Тур подошёл, взял Ильяса под мышки — огромными жёлтыми руками, — поднял с порога, как поднимают ребёнка, и поставил на ноги. Подержал, пока тот не встал твёрдо. Потом отпустил. И поправил ему ворот рубахи. Как поправлял Кассиану шнурок.

Ильяс стоял посреди палубы — высокий, бледный, в чужой куртке без рукава, с хлебом под мышкой, — и не знал, куда смотреть.

Кассиан встал. С трудом, держась за косяк ящика.

— Тальберт, — сказал он.

Ильяс посмотрел на него.

— Ты говорил: он был жив, когда ты уходил из Вельда. В своей келье. Под присмотром. Ты велел дать ему одеяло.

— Да.

— Белые его не отпустят, — сказал Кассиан. — Он лгал тебе в лицо. Он помог мне бежать. Они его заберут. — Он помолчал. — Может, уже забрали. Куда они забирают таких?

Ильяс долго молчал.

— В Рассвет, — сказал он. — В покаянную. Под главной башней. Там… — Он не договорил.

— Там кладут тёплую ладонь на лоб, — сказал Кассиан. — Ты говорил.

Ильяс смотрел на него.

— Я не прошу, — сказал Кассиан. — Я не могу просить. Ты мне ничего не должен. — Он сглотнул. — Я просто хочу, чтобы ты знал. Он старый. У него очки на проволоке. Он бреется раз в три дня. Он учил меня три года. А провожает — сорок лет. Он говорил: «Если заснёшь и задуешь — пусть рядом будет вода». Я без него не знаю, что делать. С сердцем. С этим всем.

Ильяс смотрел на него долго.

Потом взял его за руку. За замотанную, в льняных полосках, с серой ниткой на запястье. Взял осторожно — так, как берут то, что может сломаться.

Рука у Ильяса была тёплая. Просто тёплая. Человеческая.

— Я найду его, — сказал Ильяс.

И отпустил.

* * *

Он ушёл по косе на север.

Кассиан стоял у фальшборта и смотрел, как он идёт. Высокий, прямой, в чужой куртке, с хлебом под мышкой, с канатом на плече. По мокрому песку, между ивами. Медленно — рана. Но не оглядываясь.

Солнце поднялось над косой. Тени были длинные, косые, на запад.

У Ильяса тень была. Кассиан смотрел на неё — длинную, серую, человеческую, — и вдруг увидел: над Ильясом, над его светлой головой, утренний воздух чуть дрожит. Как дрожит над дорогой в жару. Тепло. Не от солнца. Ровное, внимательное, как лампа над столом. Оно шло за ним. Над ним. Висело, как висит над человеком запах дыма, если он долго сидел у костра.

Оно уходило вместе с ним.

А на «Верной» — Кассиан почувствовал это через доски палубы, через ладони на фальшборте, через свирель на груди — стало тихо. Не холодно. Не пусто. Тихо. Как бывает в доме, когда ушёл гость, который всё время смотрел в окно.

Феликс у трапа почесал культёй под лопаткой. Потом перестал.

— Не свербит, — сказал он удивлённо.

Ильяс дошёл до поворота косы, где ивы стояли гуще. Остановился. Кассиан ждал, что он обернётся.

Он не обернулся. Он поднял правую руку — медленно, ладонью вверх, — и посмотрел на неё. Долго. Потом сжал в кулак. И пошёл дальше, за ивы.

Кассиан стоял и смотрел, пока он не скрылся.

— Ставим паруса, — сказала Рена за его спиной. Негромко. — Тур, курс зюйд-вест. Квинт, считай воду. Пеппи — на мачту, смотри, не пойдёт ли кто следом. Если пойдёт ржавый парус — кричи.

— Есть, — сказал Пеппи.

«Верная» снялась с якоря.

Она пошла вдоль Ивовой косы на юг, обогнула устье с внешней стороны, мимо Южного гирла, мимо банок, белеющих под водой, как спины огромных рыб, — и вышла в открытое море. Ветер пришёл с севера, ровный, холодный, осенний. Паруса взяли его. Вода у борта зашипела — живая, рябая, солёная.

Ветлы ушли за корму. Ивы. Таможня. Пристань с чёрными столбами. Старуха с прялкой у одного из них — Кассиан её не видел, но знал, что она там.

Он лёг в гамак под бушпритом. Достал свирель. Поднёс к глазам.

Нитка шла на юго-запад. Он чувствовал её — но как сквозь рукавицу, как чувствуют чужую руку через толстое сукно. Тоньше, чем вчера.

Он держал свирель у губ, не дуя, до самого полудня. Пальцы понемногу оттаивали — больно, иголками, как после мороза. Нитка не крепла.

«Это потом, — сказал Тальберт у него в голове. — Когда научишься держать так, чтобы не держать».

Кассиан не знал, у кого теперь спросить, как это — потом.

Глава седьмая
Тишина на юге

Магистр Северин Алей. Каменный Трон, южная башня. Семьдесят второй — семьдесят третий дни после вспышки.

В южной башне было сто двенадцать ступеней, и магистр Северин Алей никогда их не считал.

Их считали другие. Слуги, которые носили ему наверх дрова и воду. Писари, которые бегали с бумагами. Молодые маги Света из Совета, которые приходили за советом и останавливались на площадке перед последним витком, чтобы перевести дух и не войти к нему запыхавшимися. Он слышал, как они считают, — губами, про себя, как считают все в Каменном Троне. Это был город, который считал ступени. Город, который каждое утро проверял, стоит ли ещё скала.

Скала стояла. Северин мог бы им это сказать. Он не говорил.

Он поднимался медленно — не потому, что уставал, а потому, что люди ждут от человека его лет медленной походки, — и на сорок седьмой ступени остановился у окна, как останавливался всегда. Окно смотрело на юг. На равнину, жёлтую, выжженную, с серыми полосами дорог. На дым от палаток беженцев у подножия скалы. На небо, бледное, осеннее, без облаков.

На юге было тихо.

Он стоял и слушал эту тишину, держа руку на холодном камне подоконника.

* * *

Тишина пришла утром.

Он проснулся — если можно назвать пробуждением то, что бывает с человеком, который не спит, — до рассвета семьдесят второго дня, в кресле у окна, с книгой на коленях, которую не читал. Свеча на столе догорела до половины. В городе внизу гасли последние огни. Всё было как всегда.

А потом он понял, что не слышит юга.

Не всего. Юг был полон. Он слышал Солнечный дом в Ветлах — маленький, бедный, четыре лампады за таможней, четыре брата, которых он не знал по лицам, только по теплу: один был старый и ровный, как печка, другой — молодой и дёрганый, как огонёк на ветру. Слышал, как они проснулись затемно и как тепло в них поднялось, когда они взяли фонарь и пошли к лодке. Слышал лодку на воде. Слышал свет над проливом — свой свет, ровный, внимательный, поставленный над водой, как ставят на пол лампу, чтобы утром найти дверь.

Он слышал всё, кроме того, ради чего этот свет был поставлен.

Шхуны не было. Ни на рассвете. Ни потом.

Он слышал тёплое, а не холодное — так он был устроен, так был устроен тот, кто слушал через него. Холод был ему недоступен, как недоступен глазу звук. Но последние дни у него было на той шхуне окно. Тёплый человек, на котором лежал его свет, как лежит на плечах плащ. Сэр Ильяс. Через него Северин слышал палубу, скрип каната, блеяние козы, голос женщины-капитана, говорившей о планах, — и рядом, в трёх шагах от него, ту самую тишину, ровную, с чистыми краями, как дыра в ткани. Всё, что ему было нужно, — знать, куда эта тишина движется.

Позавчера окно сказало ему: в середину. Он слышал это слово сквозь доски — голосом женщины-капитана, на баке, при всех. А вчера вечером окно сказало другое: на рассвете. Северным проливом. На Кормовую Скалу. За товаром. Середина подождёт.

Он поверил второму. Не потому, что был доверчив, — потому, что люди меняют планы ради денег чаще, чем ради чего бы то ни было ещё. Женщина-капитан говорила ровно, буднично, устало, как говорят о погоде, а вторая, с чернильными пальцами, спросила про белого. Капитанша ответила: ссадить. Он слышал, как сэр Ильяс лежит лицом к переборке. Как горит под канатом деревянная бусина. Он заметил бусину — заметил и не придал значения, как не придают значения тому, что у слуги, подающего вино, дрожит рука.

А ночью окно ослепло.

Не закрылось — ослепло. Тепло на сэре Ильясе вдруг стало мутным, рваным, как свет сквозь мокрую ткань. Вместо палубы, канатов, голосов — боль. Тупая, долгая, в боку, и больше ничего. Северин принял это за жар от раны. Люди болеют. Он ждал утра.

Утром окно вышло на берег.

Северин стоял тогда у окна башни и слушал, как сэр Ильяс идёт по песку. Медленно — рана. На север. Один. За ним, над ним, на нём — тепло, которое держалось, как держится запах дыма на одежде. Всё ещё держалось. Но с каждым шагом на север от моря оно говорило меньше: ветер в ивах, песок, хлеб под мышкой, канат на плече. И ни одного голоса, кроме собственного дыхания.

А шхуна ушла. Каким путём — он узнал только из донесения. Куда — не знал.

Он догадывался. Середина. Тишина тянулась на юго-запад и в ту ночь на «Кречете». Туда, где вода не движется. Но догадываться — это не то же самое, что слышать. Он слишком долго прожил, слыша, чтобы путать одно с другим.

* * *

Он дошёл до верхней площадки и открыл дверь.

Комната была круглая, как вся башня, с четырьмя окнами на четыре стороны. Северин занимал её почти тридцать лет. Здесь было тепло — всегда, в любую зиму, хотя камин он топил редко. Слуги говорили, что стены в южной башне толще, чем в других, и держат солнце. Он не спорил.

На столе лежали письма. Он разобрал их вчера и разберёт ещё раз — у него была привычка перечитывать всё, что приходило, как будто текст мог измениться за ночь. Иногда менялся. Не слова — то, что за ними.

Донесение из Ветлов пришло час назад, белым голубем, и лежало сверху. Брат Ансельм писал коряво, с ошибками, торопливо, — человек, который больше привык держать зеркало, чем перо: «Шхуна не вышла. Ждали в проливе с рассвета до полного солнца. Свет стоял. Не вышли. Куттер вельсарский тоже ждал. Позже видели с косы — ушли гирлом, южным, в большую воду, куда никто из больших судов обычно не ходит. Брата Ильяса видели на косе с рыбаками из Куликов. Живого. В чужой одежде. Шёл на север. Не задержали — приказа не было. Прошу указаний. Свет с вами. А.»

Северин прочитал это дважды. Потом положил донесение лицом вниз.

Его обманули.

Он произнёс это про себя — спокойно, как произносят имя незнакомого растения. Его не обманывали давно. Он не мог вспомнить когда. Люди лгали ему каждый день — придворные, послы, слуги, сам покойный Альдрен под конец, — но это было не обманом, а погодой: ложь лежала на них, как пыль лежит на подоконнике, и он видел её так же ясно. Это было другое. Его обманули не словами. Его обманули тем, что он слышал.

Женщина с чернильными пальцами задавала вопросы, а капитанша отвечала. У двери, при окне. Нарочно. Для окна.

Значит, она знала, что окно есть.

Северин сел в кресло. Положил руки на подлокотники. Правая ладонь заныла — глубоко, в середине, как ноет заноза, когда её задеваешь, — и он не стал её тереть. Просто сидел и смотрел на южное окно, в котором было небо.

Он попытался вспомнить её. Сновидица. Ордис. Архив. Имя пришло через Онория — давно, ещё летом, мимоходом: «архивистка, Соль, ересь в снах, толкует за медяк». Северин тогда не запомнил. Он не запоминал людей, которые толкуют сны за медяк.

Теперь запомнил.

* * *

Тишина на юге была не пустой.

Он понял это к полудню. Окно ушло — но то, что он слышал раньше сквозь окно, не исчезло совсем. Как не исчезает запах в комнате, из которой вынесли цветы. Где-то на юго-западе, далеко, в открытом море, был край: место, где все его огни, все тёплые искры, которые он мог бы услышать, — рыбацкие костры на островах, лампы на кораблях, свеча у кого-нибудь в каюте — вдруг кончались. Не гасли. Кончались. Как кончается берег.

Он знал это место.

Он знал его сорок лет. Помнил его не глазами — так, как помнят старый ожог: туман, тишину, тяжесть, тёплую и густую, как мёд на языке, слишком сладкий, — и пустоту, которая осталась на её месте. Больше он не помнил ничего. Или не позволял себе помнить. В ту сторону он не смотрел. Не потому, что не мог.

Северин закрыл глаза.

Он не любил вспоминать и другую ночь — шестьдесят с лишним дней назад, — когда самое главное утекло у него между пальцев: в мир, в кость, в мёртвую девочку. Его тогда обманули в первый раз за очень долгое время.

Дважды за семьдесят два дня. Сначала мёртвый — в ту ночь. Теперь — архивистка за медяк.

Его это не злило. Он вообще не умел злиться — так, как злятся люди, с жаром, с румянцем на щеках. Он чувствовал другое. Как будто в ровной, тёплой, бесконечной комнате открыли окно и потянуло холодом. Совсем чуть-чуть. Но тянуло.

* * *

Мальчик появился во дворе в четвёртом часу.

Не один. Северин видел его сверху, с сорок седьмой ступени: Дарен шёл через Верхний двор от Совещательного зала к западной галерее, с Остевином под руку, — медленно, переваливаясь на правую ногу, — и не поднял головы на южную башню. Ни разу. Раньше поднимал. Всю жизнь. Мальчиком — каждое утро, выбегая во двор, махал рукой в окно, где сидел учитель. Потом, взрослым, — просто смотрел. Мимоходом. Как смотрят на флюгер на ратуше.

Сегодня не посмотрел.

Северин отметил это без огорчения. Он отмечал всё. «Спасибо, магистр. Я сам», — на девяносто третьей ступени, на виду у двадцати придворных. Колено, которое мальчик нарочно не лечил. Нога, вынутая из стремени. Ящик с компасом, оставленный на берегу у Ордиса. Взгляд в лодке — долгий, считающий. Губы, которые шевелились беззвучно, как у его матери.

И письмо Корвину, которое ушло не через казённую голубятню.

Северин не знал, через какую. Это было новое. Раньше он знал, через какую голубятню уходит каждое письмо из Каменного Трона, — не потому, что следил, а потому, что голуби, как и всё в городе, проходили рядом с тёплым. Этого письма он не услышал. Значит, его отдали в холодные руки. Солдатские. Красные, огромные, в шрамах, пахнущие конюшней.

Хедде.

Северин улыбнулся. Хедде был хороший человек. Хедде не любил его тридцать лет и ни разу не сказал об этом вслух — только переставлял бокалы. Хедде был бы прекрасным маршалом, если бы умел думать дальше чем на один день. Он не умел. Поэтому был просто хорошим.

Мальчик учится, подумал Северин. Это хорошо. Ему придётся править. Тот, кто правит, должен уметь прятать письма.

Он думал это искренне. Он вообще думал о мальчике искренне — всегда, всю его жизнь. Он учил его читать, держать перо, считать по-настоящему, а не губами. Он сидел у его постели, когда мальчик болел корью, и это был единственный раз за тридцать лет, когда Северин боялся. Не за себя — он не умел бояться за себя. За то, что потеряет. Он укрыл его пледом, а утром сказал: «Наверное, мама».

Он не любил лгать. Обычно хватало правильно выбранной правды.

С мальчиком в последнее время правды требовалось всё больше.

* * *

К вечеру он написал два письма.

Первое — брату Ансельму, в Ветлы. Коротко, ровным почерком, без наклона: «Брат. Вы сделали всё верно. Не ищите шхуну. Её не найдёт никто, кроме тех, кто знает дорогу, — а дорогу знает тот, кто на ней. Сэра Ильяса не задерживать. Пусть идёт. Свет с вами». Перечитал. Добавил внизу: «Женщину, которая толкует сны, при случае не трогать. Запомнить».

Второе было длиннее. Он писал его медленно, как пишут письма, которые придётся перечитывать, и несколько раз останавливался, глядя в окно.

«Отцу Маттиасу, Первому стражу, в Рассвет.

Отец мой. Сэр Ильяс жив. Я писал вам об этом, и вы благодарили свет. Благодарите и дальше: он идёт к вам. Не знаю, по своей ли воле или по воле, которой сам не знает. Он шёл с еретиками и ушёл от них. Он идёт один, на север, в чужой одежде. Он ранен. Он, вероятно, не придёт к воротам открыто. Он может прийти так, как приходит человек, который больше не уверен, что его ждут.

Не ищите его. Не зовите. Не посылайте за ним братьев. Если он придёт — примите. Если не придёт к вам, а придёт к кому-то другому в ваших стенах, — тоже не мешайте. Свет видит его. Свету этого довольно.

Старого жреца Перехода из Нижнего Вельда, что у вас в покаянной, держите в тепле и сытости. Не наказывайте. Не допрашивайте больше. Он не скажет ничего, чего мы не знаем. Но он понадобится. Тот, кто несёт кость, без него не умеет главного, и рано или поздно ему понадобится учитель. Пусть учитель будет там, где мы знаем, где он.

Брата Онория, когда прибудет с камнем, примите с почётом. Камень склейте, как он скажет. Он знает.

Мальчик сам принесёт. Свет вечен. Это люди торопятся.

С любовью, в свете, — С. А.»

Он перечитал письмо трижды. На слове «главного» остановился и долго смотрел на него, держа перо над бумагой. Потом оставил как есть.

Он не знал, чего именно не умеет мальчик с костью. Он знал только, что мальчик это чувствует, — потому что старый жрец, Тальберт, сперва под надзором в Нижнем Вельде, а

потом в покаянной Рассвета, на каждый вопрос белых братьев отвечал одно и то же, кротко, без вызова, моргая за проволочными очками: «Он не умеет отпускать. Я не успел научить. Если он найдёт меня — научу. Если не найдёт — он умрёт, и вы останетесь ни с чем». Белые записывали это как ересь. Маттиас прислал запись Северину. Северин прочитал её тогда — и запомнил каждое слово.

Хорошие слова. Правильно выбранная правда.

Он запечатал письмо белым воском и положил на край стола, для утреннего голубя.

* * *

Ночью он открыл ящик стола.

Компас лежал там, где он его оставил, — в ящике тёмного дерева с медными углами, на тёмно-синем бархате. Круг под стеклом — как застывшая вода. По краю — знаки старше букв, как царапины на льду. Стрелка на тонкой игле. Реликвия школы Истины — с тех пор, как Девятеро были девятью. Ильзе Варн дважды присылала напомнить, что его надо вернуть. Мальчик просил вернуть. Северин говорил: после войны.

Он открыл крышку.

Стрелка шла по кругу. Ровно, медленно, без рывков, как ходит лошадь на привязи вокруг колодца. Она шла так с тех пор, как ящик впервые оказался в этой комнате, и будет идти, пока ящик в ней лежит. Северин знал почему. Знал так, как знают, почему у них светлые глаза: это просто было.

Он положил палец на стекло. Стрелка не остановилась.

— Где он? — спросил он тихо. Не компас — себя. Привычка, оставшаяся от тех времён, когда он спрашивал вслух.

Стрелка шла по кругу.

Компас Истины указывает не на ответ, а на главное противоречие. Так учили в школе, которую когда-то держал тот, кто сделал этот компас. Северин подумал: главное противоречие этой комнаты — я. И улыбнулся. Это было правдой, а правду он любил.

Он закрыл крышку — бережно, как закрывают глаза спящему, — и задвинул ящик.

Ладонь ныла.

Он вышел на площадку перед дверью, на верхний виток лестницы, и встал у южного окна. Ночь была тёмная, без луны, с крупными холодными звёздами. На юге, далеко, за равниной, за Сухими Лугами, за Солёной Гаванью, за морем, за Тирессом, — тишина. Ровная. Огромная. С краем, за которым кончались все огни.

Туда шла шхуна. Он был уверен, как был уверен в том, что у него светлые глаза. Рано или поздно мальчик с костью войдёт туда, куда никто не входит. И тогда вокруг него замолчит весь мир.

Северин смотрел на юг и ждал.

Он умел ждать. Это было единственное, чему люди так и не научились за все тысячи лет, что он на них смотрел. Они торопились. Они строили, ломали, воевали, мирились, умирали — и всё быстро, всё на бегу, как дети, которые боятся, что их позовут домой раньше, чем они доиграют. А он ждал. Сорок лет — над водой, которая не движется. Пятьсот лет — с занозой в ладони. Дольше — дольше, чем помнят хроники.

Мальчик сам принесёт.

Рано или поздно он дойдёт туда, куда его тянет. Откроет то, что нужно открыть. И тогда ему понадобится всё: учитель, сердце, дорога назад. И он поймёт, что дорога назад одна. Через свет.

Северин стоял у окна до утра. Внизу, на Верхнем дворе, в западной галерее, в окне спальни, которая всю жизнь принадлежала покойному Альдрену, а теперь принадлежала его сыну, — горела свеча. Северин слышал её, как слышат дыхание в соседней комнате.

Мальчик тоже не спал.

Перед самым рассветом свеча погасла — не догорела, её задули, — и Северин услышал, как мальчик лёг. Тяжело, на спину, с правой ногой на свёрнутом одеяле.

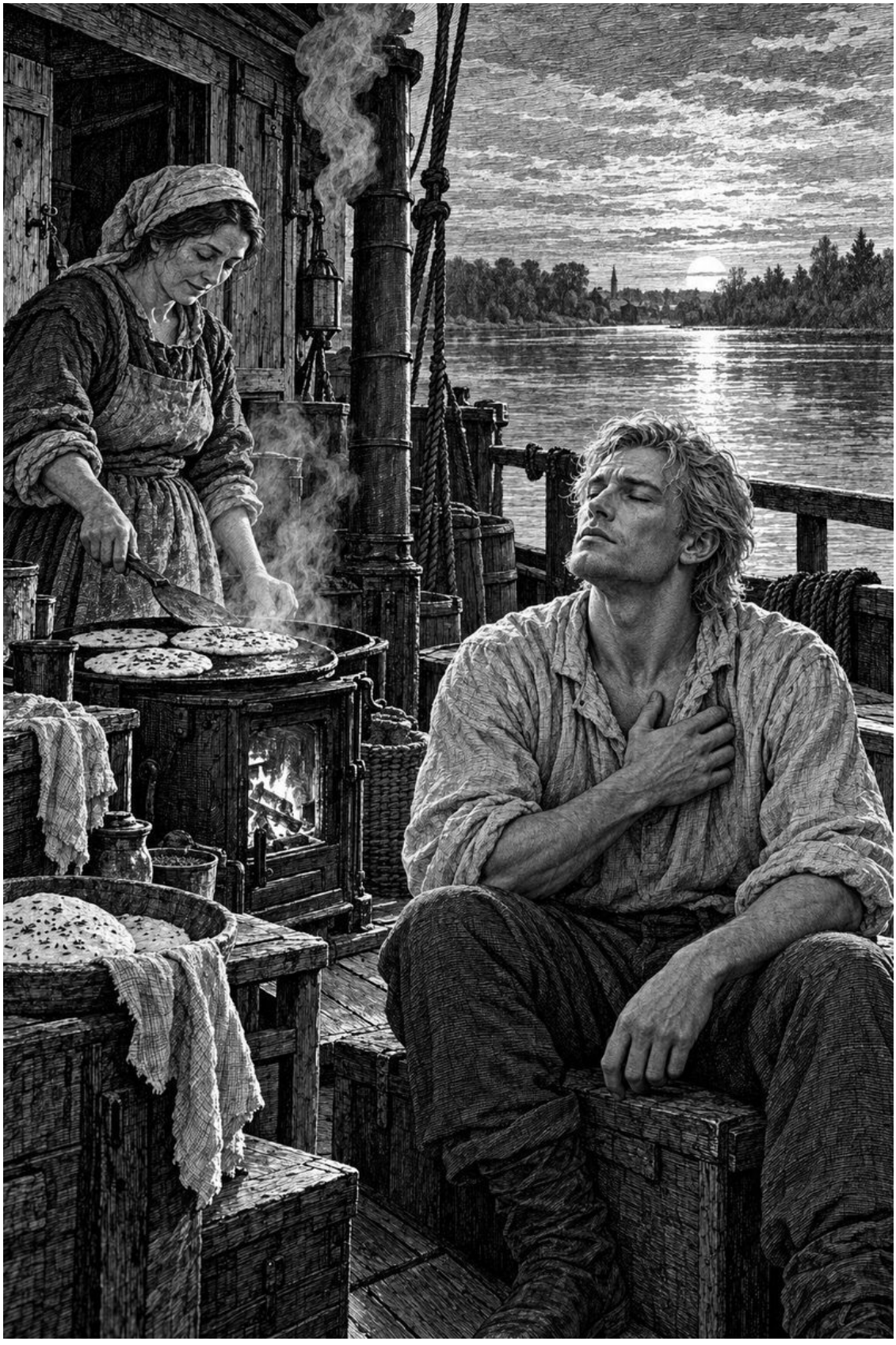
Он подождал ещё немного. Потом спустился на сорок седьмую ступень, к окну, и встал так, чтобы первый луч солнца, когда он поднимется над равниной, лёг ему на лицо.

Луч лёг.

Северин стоял в нём и не щурился. Внизу просыпался город, который каждое утро считал ступени и проверял, стоит ли ещё скала.

Северин не считал. Он ждал.

Глава восьмая
Мила



Сэр Ильяс. Кулики — море — Солёная Гавань — река Вельда. Семьдесят второй — семьдесят восьмой дни после вспышки.

В Куликах никто не спросил, кто он такой.

Деревня стояла на северном конце косы, перед проливом к острову Гусиному, — двенадцать домов на сваях, сети на кольях, перевёрнутые лодки на песке, кривые ивы и запах рыбы, такой густой, что его можно было резать ножом. Ильяс пришёл туда к полудню. Шёл медленно — бок тянуло, шов горел, и на каждом десятом шаге он останавливался и стоял, держась за ствол ивы, пока не проходило. Мимо шли женщины с корзинами. Смотрели на его куртку без рукава, на хлеб под мышкой, на канат на плече. И проходили мимо.

Он понял почему, когда увидел себя в бочке с дождевой водой у первого дома. Из воды на него смотрел заросший светлой щетиной человек с тёмными кругами под глазами, в чужой вельсарской коже, в рубахе, которая когда-то была белой, а теперь была цвета дёгтя и пепла. Человек был худой. Человек был никто.

В Рассвете его учили, что рыцаря Света узнают издалека. По осанке. По взгляду. По свету, который от него исходит. Он шёл по Куликам, и никто не узнавал в нём рыцаря. Его узнавали как ещё одного. Ещё одного, кто идёт с юга.

Он не знал, легче ему от этого или тяжелее.

* * *

Лодка нашлась у дальнего конца берега.

Не лодка — баркас: широкий, пузатый, просмолённый до черноты, с одной мачтой и рыжим заплатанным парусом. В нём лежала солёная рыба — бочки, обвязанные верёвкой, двадцать, может больше. Рядом на песке сидел старик и чинил сеть, а двое мужчин помоложе — сыновья, по носам видно, одинаковые, широкие, как у отца, — грузили последние бочки.

— На север? — спросил Ильяс.

Старик поднял голову. Лицо у него было тёмное, как мореное дерево, в глубоких морщинах, глаза — светлые, выцветшие, как вода в луже.

— До Гавани, — сказал старик. — Солёной. Четыре дня, если ветер. Пять, если нет. — Он посмотрел на Ильяса: на куртку, на канат. — Денег нет.

Это был не вопрос.

— Нет, — сказал Ильяс.

— Рыбу ловить умеешь?

— Нет.

— Грести?

Ильяс подумал. Бок. Шов.

— Недолго, — сказал он.

Старик хмыкнул и вернулся к сети. Сыновья поставили последнюю бочку. Один из них — тот, что помоложе, рыжеватый, с облупленным носом, — посмотрел на Ильяса с любопытством, без злобы.

— Канат у тебя, — сказал он. — Узлы-то чьи?

— Мои.

— Твои? — Рыжеватый подошёл. Взял конец каната, повертел. — Шкотовый. Кривой. — Он засмеялся. — Кто ж так вяжет? Вот здесь петлю тянешь не туда.

— Я учусь, — сказал Ильяс.

Рыжеватый посмотрел на него. Потом на отца. Старик не поднимал головы от сети.

— Батя, — сказал рыжеватый. — Пусть шкоты вяжет. Мне с бочками и так рук не хватает.

Старик долго молчал. Игла в его пальцах ходила вверх-вниз, вверх-вниз. Потом он сказал, не поднимая глаз:

— На носу спать будет. Под парусиной. Ест что дадут. Если блевать — за борт, не на рыбу.

— Спасибо, — сказал Ильяс.

Старик пожал плечами.

— Не мне спасибо. Узлу.

* * *

Они вышли на закате.

Ветер был северный — встречный, — и баркас шёл в лавировку, медленно, галсами, как ходят пьяные по улице. Каждый поворот — шкоты. Ильяс вязал. Рыжеватый — его звали Бенно — показывал, ругался, смеялся, показывал снова. Старший сын, Карл, сидел на руле и молчал так же, как отец. Сам старик, которого сыновья звали только «батя», спал на бочках, накрывшись старым тулупом, и храпел, перекрывая плеск.

К ночи Ильяс вязал шкотовый без единой ошибки.

Он сидел на носу под парусиной, держа в руках канат Квинта, и смотрел на воду. Вода была тёмная, рябая, живая. Звёзды над ней стояли низко. Позади, на юге, ничего не было — ни огня, ни берега. Где-то там, далеко, шла шхуна с жёлтым фонарём на корме. Шла туда, куда её тянуло.

Он думал о мальчике. О его руке в льняных полосках. О серой нитке на запястье. «Я без него не знаю, что делать. С сердцем».

Тепло пришло, когда он думал о мальчике.

Оно легло на плечи — мягко, ровно, как ложится на плечи плащ, когда кто-то накидывает его сзади. Он узнал его сразу. Он знал его столько лет. Оно было как всегда: ласковое, внимательное, огромное, — и шло не от звёзд, не от моря, а сверху, отовсюду, — и в нём было то, что было всегда: «Ты избран. Ты мой. Не бойся».

А под ним — сейчас он слышал это ясно, как никогда раньше, — было другое. Не слова. Вопрос без слов. Как наклоняется над плечом человек, который хочет прочитать письмо, которое ты пишешь.

Куда она идёт? Куда?

Ильяс сидел неподвижно.

Он знал куда. Он не знал точно — но знал. На юго-запад. Туда, где вода не движется. Мальчик сказал Рене. Рена сказала команде. Он слышал сквозь доски канатного ящика.

Тепло ждало.

Ильяс лёг. Медленно, на раненый бок, на правый. Шов вспыхнул так, что у него потемнело в глазах. Он лежал на нём и дышал сквозь зубы, и боль была — простая, грубая, его собственная, — и сквозь эту боль он думал о канате. О шкотовом узле. О том, как Бенно говорил: «Петлю тянешь не туда». Петля. Конец. Через петлю. Под себя.

Тепло постояло над ним. И отошло. Как отходит гость от закрытой двери.

Деревянная бусина под щекой была горячая.

* * *

Пять дней.

Ветер на третий день сменился на западный, и баркас пошёл быстрее. Берег Тиресса ушёл за горизонт, потом появился другой — низкий, жёлтый, с редкими холмами. Кордар. Бенно показывал: вон Сухие Луга. Вон устье Вельды. Вон, за ним, мачты.

Ильяс вязал шкоты, ел то, что давали, — рыбу, лук, сухари, однажды кусок сала, — и спал на носу. Каждую ночь приходило тепло. Каждую ночь он ложился на бок.

Он заметил, что тепло стало тише.

Не слабее — тише. Как будто дальше. Как будто те, кто был рядом с ним раньше, когда он лежал в канатном ящике, — Феликс, Квинт, мальчик у самой воды, — были для тепла чем-то вроде лампы, на которую оно шло, а теперь лампы не было, и оно приходило просто так, по привычке, и ему было нечего у него спросить.

Кроме одного. Куда.

На четвёртую ночь, в темноте, на палубе, когда баркас стоял на якоре в устье, Бенно сел рядом с ним на носу. Закурил трубку. Долго молчал.

— Ты белый, — сказал он наконец. — Был.

Ильяс не ответил.

— Я видел, как ты руку держишь, — сказал Бенно. — Правую. Ладонью вниз. Так белые держат, которые в Ветлах. Когда не светят. — Он затянулся. — Я хотел к ним. К белым. Весной. Батя не пустил. Сказал: «Ты рыбак. Рыбаки не светят. Рыбаки ловят рыбу». — Бенно помолчал. — А они хлеб раздают. Даром. Всем. В Ветлах. Говорят, свет никого не бросит. Что один бог остался — и он держит всех.

Ильяс смотрел на воду.

— Ты чего ушёл? — спросил Бенно.

Ильяс долго думал, что ответить. В Рассвете его учили отвечать. На любой вопрос — свет. Свет держит. Свет видит. Свет не бросает.

— Я узнал, — сказал он наконец, — что свет смотрит не на меня. А через меня. Как в окно.

Бенно повернул к нему голову.

— А тебе какая разница? — спросил он. — Смотрит и смотрит.

Ильяс не знал, что ответить. Он сидел и молчал, и Бенно, подождав, пожал плечами, выбил трубку о борт и ушёл спать на бочки, к отцу.

А Ильяс сидел до утра и думал: какая разница.

Разница была в том, что в окно смотрят, когда хотят увидеть то, что за окном. Не окно.

* * *

Солёная Гавань встретила его хлебом.

Он не ожидал этого. Он шёл по набережной — мимо рыбного рынка, мимо складов, мимо верфей, где на стапелях стояли недостроенные корпуса, как рёбра огромных животных, — и вдруг почувствовал запах. Тёплый. Густой. Хлеба. И увидел очередь.

Очередь тянулась от бывшего склада канатчиков у верфей. Длинная — сотня человек, больше. Женщины, старики, дети. Солдаты в бинтах. Над складом — медное солнце о восьми лучах. Новое. Начищенное.

Солнечный дом.

Ильяс знал его. Он был здесь — сорок с лишним дней назад, — когда шёл по следу мальчика вниз по Вельде. Брат Фабиан, пухлый, румяный, с руками, вечно белыми от муки, накормил тогда его и его братьев и проводил их до пристани с добрым словом. Ильяс помнил, как Фабиан держал его за руки и говорил: «Свет с тобой, брат. Найди еретика. Мы будем молиться».

Он встал в очередь.

Он не собирался. Ноги встали сами. Он не ел с утра, и запах хлеба тянул, как тянет вода в жару. И ещё — он хотел увидеть. Он не знал что. Может быть, себя — того, каким был сорок дней назад.

Очередь шла медленно. Хлеб раздавали у широкой двери склада — двое братьев в белом, молодые, незнакомые. Каждому — краюху, и каждому — слово: «Свет с тобой». Люди брали хлеб и кланялись. Некоторые касались лба. Одна старуха поцеловала брату руку.

Ильяс стоял и смотрел на это, и в груди у него было что-то, чему он не знал имени. Это было правильно. Это было хорошо. Люди голодали — им давали хлеб. Даром. Он сам столько лет считал это лучшим, что делает орден.

Он и сейчас так считал.

Он просто больше не знал, кто ещё стоит в этой очереди. Невидимый. С каждым, кто взял хлеб и сказал «спасибо».

— Брат.

Он обернулся.

У стены склада, в стороне от очереди, стоял мальчик в белом. Шестнадцать лет. Худой, остроносый, с прыщами на подбородке, с ведром в руке, — и смотрел на Ильяса так, как смотрят на мертвеца.

Йонас.

* * *

Они говорили за складом, у кучи пустых бочек, где пахло смолой и мышами.

Йонас плакал. Не громко — он плакал так, как плачут люди, которые долго держались и вдруг перестали. Губы тряслись, нос покраснел. Ведро он так и не поставил.

— Сказали — умер, — повторял он. — Брат Бертран сказал. Наверху, у колодца. Сказал: брат Ильяс отдал жизнь. Мы пели. В Ордисе пели, в Солнечном доме. Здесь пели. Брат Фабиан плакал.

— Я знаю, — сказал Ильяс. — Прости.

— А потом… — Йонас вытер нос рукавом. — Потом пришло письмо. От магистра. Через Рассвет, от отца Маттиаса — старший Солнечного дома читал нам вслух, после вечерней молитвы. «Сэр Ильяс жив. Он среди них. Не ищите его. Свет его видит». — Йонас посмотрел на него снизу вверх, мокрыми глазами. — Мы не поняли. Брат Оттон сказал — значит, ты в плену. Брат Ральф сказал… — Он замолчал.

— Что сказал Ральф?

— Что ты с ними. С еретиками. По своей воле.

Ильяс помолчал.

— Ральф прав, — сказал он. — Почти.

Йонас смотрел на него. Потом поставил ведро. Наконец.

— Брат, — сказал он тихо. — Я их вижу.

— Кого?

— Мёртвых. — Йонас обхватил себя руками. — Как в Ордисе. Как у лестницы, под землёй. Я тогда думал — это от подземелья. От колодца. А они и здесь. В Гавани. Везде. Стоят. У воды, на пристани, у Солнечного дома, в очереди — между живыми. Смотрят. Брат, их больше каждый день. Каждый день — больше. Раненые маршала умирают — двое вчера, один сегодня утром — и не уходят. Встают у своих коек. И стоят. — Голос у Йонаса сорвался. — Я сказал брату Фабиану. Он положил мне руку на лоб. Тёплую. И сказал: это искушение, брат, молись, свет очищает. И я… я перестал их видеть. На день. А потом опять.

Ильяс молчал.

Он думал о мальчике. О реке в тумане. О рядах на сером берегу — «как рожь в поле». Все, кого некому было провести. Они не перешли. И вот — здесь. В Гавани. У коек.

Мальчик закрыл дверь. Мальчик выбрал кость — а не сестру. А те, кто остался, всё ждут проводника.

Из-за двери, которую Ильяс сам невольно открыл.

— Ты не сошёл с ума, — сказал он Йонасу. — Ты их правда видишь. Они правда стоят. Им некуда идти.

Йонас смотрел на него, открыв рот.

— Не говори Фабиану, — сказал Ильяс. — Не говори никому. Не потому, что это ересь. Потому что тебе положат руку на лоб, и ты перестанешь видеть. А кто-то должен видеть.

* * *

Он спросил про Тальберта, когда Йонас успокоился.

Йонас знал. Йонас знал всё — он был самый младший, ему поручали носить воду, мыть полы и сидеть в углу, когда старшие говорили, и он слышал всё.

— Старика из Вельда? Жреца? — Йонас кивнул. — Брат Йенс его вёз. Ещё в конце лета. Пока мы в Ордисе были. Из Вельда — прямо в Рассвет, в закрытой телеге. По приказу. — Он понизил голос. — Отец Маттиас велел — в покаянную. Под главной башней. Брат Ральф рассказывал, он оттуда письмо получил: старика греют каждый день. Ладонь на лоб. По часу. А он… — Йонас замялся. — Он не греется. В письме было: сидит, моргает за очками, и говорит одно и то же. Каждый раз одно. «Он не умеет отпускать. Я не успел научить». Братья думают — он про Морвена. Про бога своего. Что тот не умел отпустить мир.

Ильяс закрыл глаза.

Не про Морвена. Про мальчика. Который сидел на мокрой палубе с замотанными руками и говорил: «Я без него не знаю, что делать. С сердцем».

— Жив, — сказал Ильяс.

— Жив. Письмо Ральф получил недавно. — Йонас пожал плечами. — Еретиков ведь судят через месяц. Самое долгое — через два. А этого не судят. Держат уже второй месяц. Брат Бертран, когда мы здесь стояли, перед тем как ему на север, — услышал про это и долго молчал. А потом сказал: «Значит, ждут». Я спросил — кого. Он не ответил.

Ильяс молчал.

Значит, ждут.

Бертран поехал в Рассвет — с Онорием, с камнем, с выжившими. Бертран, который двадцать лет смотрел на письма магистра и считал дни. Бертран, который у ступеней под Ордисом сказал: «Свет вечный, ему некуда спешить. Это люди торопятся. Люди с голубями».

Ждут. Не его. Мальчика.

* * *

Он заметил это, когда собрался уходить.

Йонас стоял рядом — близко, на шаг, — и держал его за рукав. За левый, единственный. И говорил: «Возьми меня с собой, брат. Я не хочу здесь. Я не хочу, чтобы мне клали руку на лоб». Он говорил это быстро, горячо, глотая слова.

А бусина в кармане куртки была тёплая.

Не горячая, как в ту ночь в канатном ящике. Тёплая. Как камень, на котором полдня полежала кошка.

Ильяс положил руку на карман. Посмотрел на Йонаса.

Он вспомнил: Рассвет. Двадцать шестой день после вспышки. Йонас, шестнадцать лет, второй месяц в ордене, стоит у лестницы в Белую башню и дрожит после страшного сна — ему снится свет, который вытягивает целиком, и он боится, что это грех. И Ильяс — тогда ещё тот Ильяс — кладёт ему руку на плечо. И впускает тепло. Совсем чуть-чуть. Чтобы перестал дрожать.

Мальчик перестал. И с тех пор ходил за ним, как щенок.

Тепло, которое Ильяс впустил тогда, — было не его. Он думал, что его. Всю жизнь думал. А оно было оттуда же. И лежало теперь на Йонасе, как лежит на всех, кого коснулись. На Фабиане. На Онории. На Маттиасе. На трёхстах на площади Ордиса.

Ильяс осторожно освободил рукав.

— Нет, — сказал он. — Не сейчас. Ты нужен здесь.

— Зачем?

— Видеть, — сказал Ильяс. — Я сказал. Кто-то должен.

Йонас смотрел на него, и губы у него опять задрожали.

— А если спросят? — сказал он. — Брат Фабиан. Если спросит, видел ли я кого. Я не умею врать, брат. Ты знаешь. Я краснею.

Ильяс подумал.

— Не ври, — сказал он. — Если спросят — скажи: видел брата Ильяса, живого, в чужой куртке. Он ушёл на север. Это правда. Пусть знают. — Он помолчал. — Я больше никого не заставлю врать ради себя.

Он положил Йонасу руку на плечо. Левую. Без тепла. Просто руку.

И ушёл.

* * *

Барж на Вельде шло много. Вверх по реке — пустые, за лесом и хлебом; вниз — гружёные. Ильяс нанялся на пустую, к хозяйке — широкой, краснолицей вдове по имени Грета, которая тянула баржу вверх по течению двумя парами волов по бечевнику и платила тем, кто шёл рядом с волами, по медяку в день и миску похлёбки.

Он шёл рядом с волами. Два дня. Бок болел — но по-другому, тупо, по-живому, как болит то, что заживает.

Река была широкая, медленная, бурая. По берегам — ивы, луга, деревни. Мельницы. Паромы. Коптильни, от которых тянуло лещом. Он проходил здесь полтора месяца назад — в другую сторону, вниз, верхом, в белом, с братьями, по следу еретика. Деревни были те же. Люди — те же. Только теперь они не кланялись ему. Теперь на него не смотрели.

Он смотрел сам.

Он видел то, чего не видел тогда. Свежие могилы у околиц — без столбиков, холмики. Детей, которые сидели у этих холмиков и не играли. Старух, которые ставили у дверей плошку с водой — «для тех, кто ещё здесь». В одной деревне он увидел, как женщина стоит на берегу и говорит с пустым местом у воды. Тихо. Как говорят с человеком, который не отвечает. «Иди уже. Иди. Я тебя не держу. Что ж ты стоишь».

Он не видел мёртвых. Он не был Йонасом. Но он видел тех, кто их видел.

* * *

На второй вечер баржа встала у пустого берега, где бечевник кончался и начиналась топь. Волов распрягли. Грета развела на корме жаровню — в старом медном тазу, на камнях, — замесила тесто в деревянной миске и стала печь лепёшки. Прямо на углях. Пресные, тонкие, с поджаристыми краями.

И бросила в тесто горсть тмина.

Ильяс сидел на носу, на свёрнутом канате, и почувствовал этот запах, как чувствуют удар.

Тмин. Тёплое тесто. Угли.

Его повело. Он схватился за край борта и держался, как держатся на палубе в шторм, и дышал, и не мог надышаться, — и в груди у него поднималось что-то огромное, медленное, тяжёлое, как поднимается вода в шлюзе.

Изба. Брен. Тридцать дворов на опушке, где лес кончался и начинались горы. Печь. Мать у печи — спина, платок, руки в тесте. Отец во дворе тешет бревно, пахнет смолой. Рыжая собака без имени на пороге. И на лавке у стола — девочка. В сером. Худенькая. Коса до пояса, тёмная, с рыжиной, как у собаки. Руки — по локоть в муке. Месит. Сосредоточенно, высунув кончик языка. И говорит, не поднимая головы, — сердито, по-взрослому, как говорят старшие сёстры младшим братьям:

«Ильяска, не мешай. Я сама».

Он помнил это. Он помнил это всегда. Двадцать четыре года.

Имя не приходило.

Он сидел и держался за борт, и имя было рядом — совсем рядом, на кончике языка, как бывает со словом, которое знаешь, но не можешь сказать. Первый звук. Мягкий. Как корка тёплого хлеба.

И пришло тепло.

Оно легло сверху. Ровно, мягко, огромно — как ложилось всегда, когда имя подходило слишком близко. Как ладонь на свечу. Не больно. Не страшно. Просто — тихо. Тише. Ещё тише. Не надо. Это было давно. Это было до света. Ты избран. Тебя спасли. Её не спасли — но тебя спасли. Ты мой.

Раньше он всегда соглашался.

Ему было семь лет, он сидел в круге света посреди пустой деревни, и за краем круга, в темноте, кто-то плакал. «Ильяска, пусти. Ильяска, мне страшно. Пусти меня к себе». А свет держал его. Ровный, тёплый, круглый — на шаг. И он не пустил. Он не знал, как пустить. Ему было семь лет, и свет сказал ему: сиди. И он сидел. До утра. А утром за краем круга никого не было.

Столько лет свет говорил ему: это было не твоё решение. Это было моё. Ты не виноват. Не вспоминай.

И он не вспоминал. Не вспоминал её лица. Не вспоминал её имени. Свет снял это с него, как снимают с ребёнка мокрую рубашку, — заботливо, чтобы не простыл.

Ильяс сидел на носу баржи над бурой рекой и чувствовал, как тепло ложится на имя. И держит.

Он поднял правую руку. Мёртвую. Ту, в которой больше не было искры. Посмотрел на неё в свете жаровни.

Ладонью вверх.

Как в Брене. Как на площади Ордиса. Как всегда, когда он звал свет.

Он не звал. Он просто смотрел.

— Не надо, — сказал он тихо. — Я сам.

И опустил руку. Ладонью вниз. На свёрнутый канат. На узлы, которые завязал сам — кривые, неумелые, шкотовые. Держат то, что держит их.

Он не лёг на бок. Он не искал боли. Он просто сидел и держал ладонь на узлах — и не соглашался.

Тепло стояло над ним. Долго. Терпеливо — как стоят над человеком, который сейчас передумает. Он чувствовал его на затылке, на плечах, на веках. Оно не давило. Оно ждало. Как ждало столько лет.

А он сидел и вдыхал тмин.

И тепло — медленно, неохотно, как сползает с плеча плащ, когда человек перестаёт его придерживать, — сползло.

Не ушло. Он знал, что оно не ушло, — оно было где-то там, сверху, везде. Но с него — сползло. И на том месте, где оно лежало столько лет, стало холодно. Пусто. Как бывает, когда из натопленной избы выходишь в ночь.

И в этой пустоте, на самом дне, медленно, как поднимается со дна пузырь, — поднялось.

Не слово. Голос матери. Не та ночь, не круг света. Раньше. Сестра в избе, у стола, с руками в муке. Мать звала её во двор, а она не шла, потому что месила. И мать крикнула с порога, нараспев, как кричат в деревнях:

«Ми-ила! Мила, иди сюда!»

Ильяс сидел и не двигался.

Мила.

Он сказал это. Не вслух — губами. Так, как в детстве шептал молитву, когда боялся, что услышат.

— Мила.

Вслух.

Грета у жаровни подняла голову.

— Чего? — спросила она. — Кого зовёшь?

Ильяс смотрел на реку. На бурую воду, медленную, тёплую, живую. На ивы. На первую звезду над топью. Лицо у него было мокрое. Он не помнил, когда начал плакать.

— Сестру, — сказал он.

Грета посмотрела на него. Долго. Потом сняла с углей лепёшку — горячую, с поджаристым краем, пахнущую тмином, — разорвала пополам и протянула ему половину. Молча.

Он взял.

Лепёшка обжигала пальцы левой руки. Он поддерживал её и правой ладонью, мёртвой: та не чувствовала ничего. Тепло шло в левую руку. Простое тепло. От углей. От теста. От хлеба, который испекли для него и отдали даром — и ничего не спросили.

— Ешь, — сказала Грета. — Остынет.

Он ел.

И думал — ясно, холодно, как думают на морозе: Мила. Десять лет. В сером. Руки в муке. Шла ко мне. В тот четверг, в ту ночь, когда лес пришёл, она вышла из дома и шла ко мне, к кругу, где я сидел, и плакала, и просила пустить. А свет держал меня. И она стояла за краем. До утра.

А теперь она стоит на берегу. Он видел её там — краем глаза, у арки, под Ордисом. Меньше, чем помнил. Мёртвые не растут. Стоит в сером, в первом ряду, и ждёт. Двадцать четыре года ждала, а теперь ещё и дверь закрыта.

Мила.

Он доел лепёшку. Облизал пальцы. Встал — медленно, держась за борт, — и посмотрел на север. Вверх по реке. Туда, где за лугами, за лесами, за последней деревней поднимались горы. Он их не видел — было темно. Но знал, что они там. Белая цитадель на уступе. Светлый камень со слюдой, который горит на солнце, как иней. Двадцать миль видно.

Там, под главной башней, в покаянной, сидел старик в проволочных очках, которого каждый день грели и который не грелся.

Значит, ждут.

Пусть ждут, подумал Ильяс. Пусть ждут кого угодно. Я приду.

Он вытащил из кармана бусину. Она была холодная. Совсем. Как камень на дне реки.

Он долго смотрел на неё. Потом положил обратно и лёг спать на носу баржи, на свёрнутый канат, на левый бок. На здоровый.

Впервые за двадцать четыре года ему ничего не снилось.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.